

◆

Федор Достоевский



ГЛАВНЫЕ КНИГИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ИДИОТ

Достоевский пытается изобразить «положительно прекрасного человека» — и пишет роман о судьбе пророка в современном мире, где жгут деньги в камине и руки на свечке, лгут, убивают и сходят с ума.

альпина
ПРОЗА

ПОЛКА

Главные книги русской литературы (Альпина)

Федор Достоевский

Идиот

«Альпина Диджитал»

1868

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

Достоевский Ф. М.

Идиот / Ф. М. Достоевский — «Альпина Диджитал»,
1868 — (Главные книги русской литературы (Альпина))

ISBN 978-5-96-149074-9

Достоевский пытается изобразить «положительно прекрасного человека» – и пишет роман о судьбе пророка в современном мире, где жгут деньги в камине и руки на свечке, лгут, убивают и сходят с ума.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-96-149074-9

© Достоевский Ф. М., 1868
© Альпина Диджитал, 1868

Содержание

Предисловие «Полки»	9
О ЧЕМ ЭТА КНИГА?	11
КОГДА ОНА НАПИСАНА?	12
КАК ОНА НАПИСАНА?	13
ЧТО НА НЕЕ ПОВЛИЯЛО?	14
КАК ОНА БЫЛА ОПУБЛИКОВАНА?	16
КАК ЕЕ ПРИНЯЛИ?	17
ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?	20
ПОЧЕМУ РОМАН ТАК НАЗВАН?	21
ЗАЧЕМ ДОСТОЕВСКИЙ НАДЕЛИЛ МЫШКИНА ЭПИЛЕПСИЕЙ?	22
КНЯЗЬ МЫШКИН – СОВРЕМЕННЫЙ ИИСУС ХРИСТОС?	24
ПОЧЕМУ НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА МЕЧЕТСЯ МЕЖДУ РОГОЖИНЫМ И МЫШКИНЫМ?	25
ЗАЧЕМ ДОСТОЕВСКИЙ ВВОДИТ В ЛЮБОВНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК АГЛАЮ?	26
КАКУЮ РОЛЬ В РОМАНЕ ИГРАЕТ ЖИВОПИСЬ?	27
ПОЧЕМУ В «ИДИОТЕ» ТАК ПОДРОБНО ПОКАЗАНЫ ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ПЕРСОНАЖИ?	28
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ В РОМАНЕ ГЕРОИ ОПЕРИРУЮТ ОГРОМНЫМИ СУММАМИ ДЕНЕГ?	29
Идиот	30
Часть первая	31
I	31
II	37
III	43
IV	50
V	58
Конец ознакомительного фрагмента.	59
Комментарии	

Федор Достоевский

Идиот

Текст печатается по изданию: Достоевский Ф. М. Собрание сочинений в 12 томах. Т. 6, 7. – М.: Правда, 1982.

Главный редактор С. Турко
Руководитель проекта А. Деркач
Корректоры А. Кондратова, М. Смирнова
Компьютерная верстка М. Поташкин
Художественное оформление и макет Ю. Буга

Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.

Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

© Чувиляев И., предисловие, 2022
© ООО «Альпина Пабlishер», 2023

* * *

Федор Достоевский

ИДИОТ

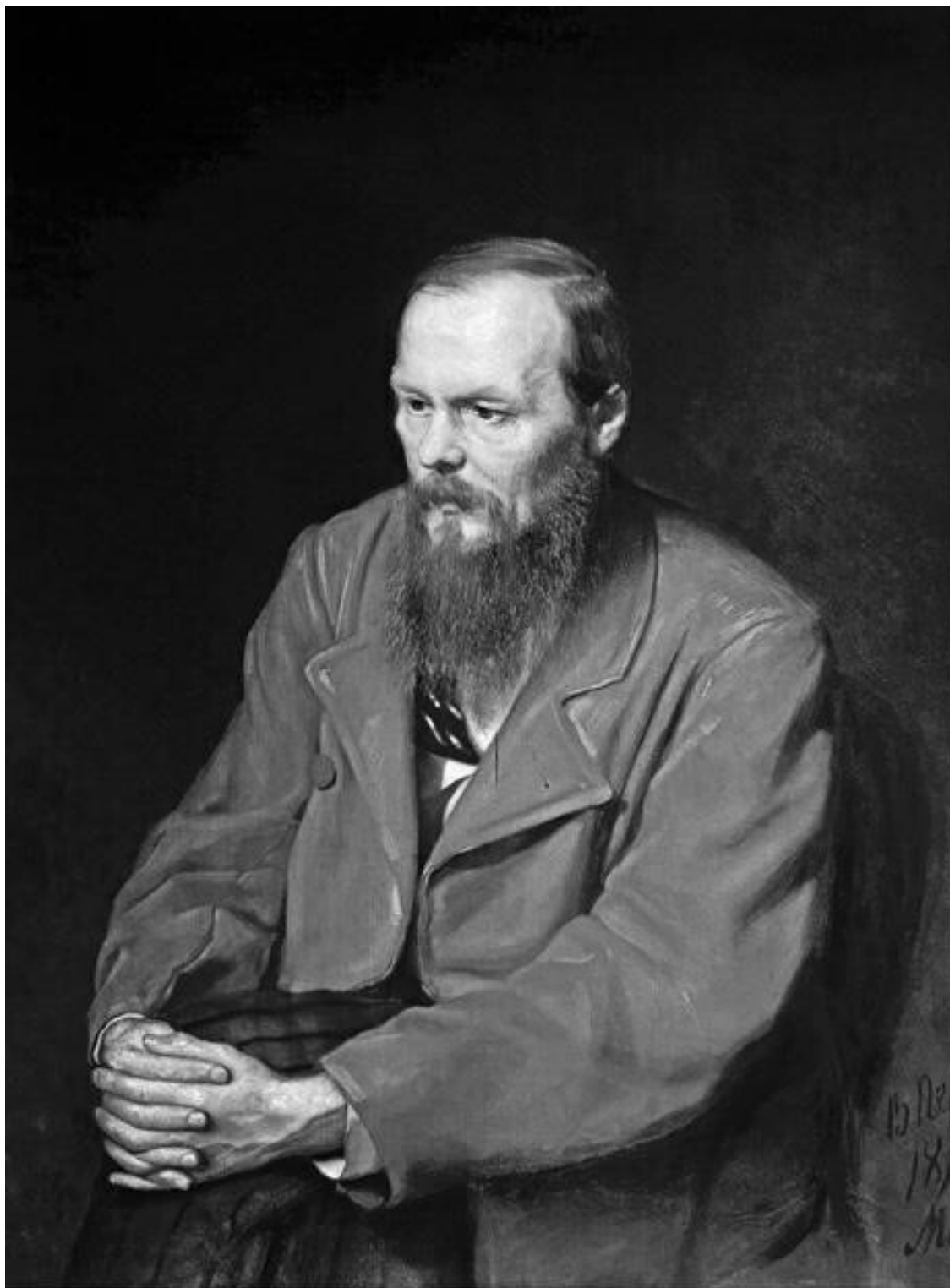
Роман в четырех частях

ПОЛКА

альпина
ПРОЗА

Москва, 2023





Василий Перов. Портрет Федора Достоевского. 1872 год.
*Государственная Третьяковская галерея*¹

¹ Василий Перов. Портрет Федора Достоевского. 1872 год. Государственная Третьяковская галерея.

Предисловие «Полки»

Достоевский пытается изобразить «положительно прекрасного человека» – и пишет роман о судьбе пророка в современном мире, где жгут деньги в камине и руки на свечке, лгут, убивают и сходят с ума.

Иван Чувильев



О ЧЕМ ЭТА КНИГА?

Из швейцарской клиники в Россию возвращается больной эпилепсией князь Мышкин – человек поразительной доброты, кротости, при этом тонкий психолог, умеющий говорить с любым собеседником и в каждом видеть больше, чем прочие. В Петербурге у князя завязываются отношения с купцом Парфеном Рогожиным, роковой красавицей Настасьей Филипповной Барашковой и прогрессивной барышней Аглаей Епанчиной. Генералы и попрошайки, купцы и нищие аристократы сталкиваются со странным князем – и каждый из них проявляет себя самым неожиданным образом, меняется, по-новому раскрывается. Жулики и вруны оказываются несчастными людьми, пьяницы и горлопаны – униженными и оскорбленными. Но эти преобразования жизни героев изменить не могут, они остаются теми же, кем были, а сам князь в финале окончательно теряет рассудок. Достоевский намеревался показать идеального человека, похожего на Христа; мир, в котором ему приходится существовать, берет верх над добротелью, изменить его не удастся. Роман, плохо встреченный современниками, потомки оценили как одно из самых мощных высказываний Достоевского.

КОГДА ОНА НАПИСАНА?

О том, как происходила работа над «Идиотом», судить можно только по письмам Достоевского и воспоминаниям его жены Анны Григорьевны: черновики романа не сохранились, перед возвращением в Россию Достоевский все свои рукописи сжег. Как пишет Анна Григорьевна, он опасался, что «на русской границе его, несомненно, будут обыскивать и бумаги от него отберут, а затем они пропадут, как пропали все его бумаги при его аресте в 1849 году»^[1].

Достоевский работал над «Идиотом» с сентября 1867-го по январь 1869 года. Этот период был одним из самых тяжелых и даже трагических в его жизни. Писатель сбежал от бесчисленных кредиторов из России в Европу, безуспешно пытался побороть свою лудоманию – патологическую зависимость от азартных игр. Наконец, во время работы над «Идиотом», в 1868 году, у него родился первый ребенок, дочь Соня, – девочка умерла всего через два месяца. Одновременно с работой над «Идиотом» Достоевские постоянно переезжали с места на место: из Дрездена в Женеву, оттуда в Веве, в Милан, Флоренцию.

Все эти события отражались и на работе над романом: уже оконченную первую часть «Идиота» Достоевский уничтожил и переписал начисто. Только после этого он сам сформулировал сложившуюся идею нового романа: изобразить «положительно прекрасного человека». И даже после этого Достоевский постоянно жаловался в письмах, что работа продвигается трудно и медленно: «Романом я недоволен до отвращения. <...> Теперь сделаю последнее усилие на 3-ю часть. Если поправлю роман – поправлюсь сам, если нет, то я погиб»^[2]. Не был удовлетворен результатом Достоевский и после публикации: «В романе много написано наскоро, много растянуто и не удалось»^[3].

КАК ОНА НАПИСАНА?

Отличительная черта романа, буквально бросающаяся в глаза, – его театральность. Роман почти полностью состоит из диалогов, авторский текст представляет собой в основном очень подробные описания персонажей и мест действия. Театральна и композиция романа: он фактически разбит на сцены, места действия сменяются крайне неспешно, а все события первой части – от знакомства Мышкина с Рогожиным в поезде до бегства Настасьи Филипповны с тем же Рогожиным – происходят в течение одних суток.

Михаил Бахтин эту диалогичность «Идиота» считал признаком жанра, который он называл мениппеей. Суть мениппеи в том, чтобы создавать «исключительные ситуации для провоцирования и испытания философской идеи – слова, правды, воплощенной в образе мудреца, искателя этой правды»^[4]. В «Идиоте» таким искателем оказывается князь Мышкин – и его голос здесь «построен так, как строится голос самого автора в романе обычного типа. Слово героя... звучит как бы рядом с авторским словом и особым образом сочетается с ним и с полноценными же голосами других героев». Примером такого «раздвоения» может служить эпизод, когда Настасья Филипповна впервые появляется в романе, приходит к Иволгиным. Сначала она – назло хозяевам, осуждающим ее, – разыгрывает роль кокетки. Но голос Мышкина, пересекающийся с ее внутренним диалогом в другом направлении, заставляет ее резко изменить этот тон и почтительно поцеловать руку матери Гани, над которой она только что издевалась.

ЧТО НА НЕЕ ПОВЛИЯЛО?

В письме своей племяннице Софье Ивановой (которой роман был посвящен в журнальной публикации) Достоевский прямо называет «прототипов» Мышкина, тех «положительно прекрасных» литературных персонажей, на которых мог бы быть похож его герой. Среди прочих упоминаются Дон Кихот, затем «слабейшая мысль, чем Дон-Кихот, но все-таки огромная» – Пиквик Диккенса и, наконец, Жан Вальжан из «Отверженных» Гюго.

Леонид Гроссман² в своей биографии Достоевского указывает, что важным источником вдохновения для написания «Идиота» была французская романтическая литература. «Противопоставление гротескных фигур единому святому или нравственному подвижнику, – пишет он, – видимо, восходит к методу романтических антитез Гюго в одной из любимейших книг Достоевского, где подворью уродов противостоит собор Парижской Богоматери, а прелестная Эсмеральда внушает страсть чудовищному Квазимодо». При этом отмечает, что сюжетные схемы и поэтика «Собора Парижской Богоматери» и других романтических произведений сильно видоизменена и осовременена.

Другой источник влияния на «Идиота», на который обращает внимание Гроссман, – бальзаковские романы и повести: это «единственный европейский писатель, которым Достоевский восхищается в своих школьных письмах и к которому он обращается для философской аргументации в своем последнем произведении»^[5]. В частности, в описании дома Рогожина из «Идиота» обнаруживается родство с пассажем о жилище папаши Гранде у Бальзака; здесь стоит учесть, что в молодости Достоевский сам переводил «Евгению Гранде» на русский.

² Леонид Петрович Гроссман (1888–1965) – литературовед, писатель. Преподавал в Московском литературно-художественном институте им. Брюсова, работал в Госиздате и Государственной академии художественных наук. Автор биографий Пушкина и Достоевского для серии «ЖЗЛ».



Рикардо Балака. Иллюстрация к роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идадьго Дон Кихот Ламанчский». 1870 год³

Наконец, некоторые источники влияния на «Идиота» непосредственно упоминаются в самом тексте романа. Князь находит в комнате Настасьи Филипповны «развернутую книгу из библиотеки для чтения, французский роман “Madame Bovary”». Играя в предложенную Фердыщенко игру с рассказом о своем худшем поступке, Тоцкий, содержанкой которого была Настасья Филипповна, упоминает «Даму с камелиями» Дюма-сына.

³ Рикардо Балака. Иллюстрация к роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идадьго Дон Кихот Ламанчский». 1870 год. Biblioteca de la Universidad de Sevilla.

КАК ОНА БЫЛА ОПУБЛИКОВАНА?

«Идиот» публиковался по частям в одном из наиболее влиятельных журналов своего времени – «Русском вестнике» – с января 1868 года по март 1869-го (там же раньше вышло «Преступление и наказание»).

Одновременно с публикацией последних частей в «Вестнике» Достоевский пытался договориться о выходе романа отдельным изданием, но безуспешно. Александр Базунов, печатавший «Преступление и наказание», покупать «Идиота» отказался. Через своего пасынка Павла Исаева писатель целый год вел переговоры с издателем Федором Стелловским, был даже составлен контракт, но роман так и не вышел в свет^[6]. Выпустить книгу получилось только спустя шесть лет, в 1874 году, когда жена писателя, Анна Григорьевна, решила организовать собственное издательство. Для этой публикации Достоевский отредактировал первоначальную версию «Идиота».

КАК ЕЕ ПРИНЯЛИ?

«Идиот» был принят критиками, мягко говоря, с недоумением. Характерны в этом смысле письма Достоевскому критика Николая Страхова, с которым писателя связывали очень теплые отношения. В самом начале 1868 года, когда были опубликованы первые главы романа, он пишет автору: «“Идиот” интересует меня лично чуть ли не больше всего, что Вы писали», «Я не нашел в первой части “Идиота” никакого недостатка». Но чем дальше, тем лаконичнее отзывы – Страхов только уверяет, что ждет конца романа, и обещает написать о нем. Только в 1871 году он наконец прямо высказывает свое впечатление от романа: «Все, что Вы вложили в “Идиота”, пропало даром».

Одним из первых рецензентов «Идиота» был Николай Лесков, – во всяком случае, именно ему приписывают авторство анонимной рецензии, опубликованной в первом номере «Вечерней газеты» за 1869 год. В ней «Мышкин, – идиот, как его называют многие; человек крайне ненормально развитый духовно, человек с болезненно развитою рефлексиею, у которого две крайности, наивная непосредственность и глубокий психологический анализ, слиты вместе, не противореча друг другу...». Куда более прямо он высказался уже в другом тексте, «Русских общественных заметках»: «Начни глаголать разными языками г. Достоевский после своего “Идиота”... это, конечно, еще можно бы, пожалуй, объяснять тем, что на своем языке ему некоторое время конфузно изъясняться».



Сатирик Дмитрий Минаев упрекал Достоевского в том, что его роман не имеет никакой связи с реальностью⁴

Но язвительнее всех выступил сатирик Дмитрий Минаев – он отозвался на публикацию не рецензией, а эпиграммой:

*У тебя, бедняк, в кармане
Грош в
почете – и в большом,
А в затейливом романе
Миллионы нипочем.
Холод терпим
мы, славяне,
В доме*

⁴ Критик Дмитрий Минаев. Из открытых источников.

*месяц не один.
А в
причудливом романе
Топят деньгами
камин.
От Невы и до Кубани
Идиотов жалок век,
«Идиот» же в том
романе
Самый умный человек.*

Подобные колкие отзывы появлялись и после публикации романа. Михаил Салтыков-Щедрин в 1871 году вспоминает об «Идиоте» в отзыве на совсем другой роман, «Светлова» Иннокентия Омулевского. В нем он упоминает о Достоевском как о литераторе исключительном «по глубине замысла, по ширине задач нравственного мира». Но здесь же обвиняет его в том, что эта «ширина задач» в «Идиоте» реализуется не самыми очевидными средствами. «Дешевое глумление над так называемым нигилизмом и презрение к смуте, которой причины всегда оставляются без разъяснения, – все это пестрит произведения г. Достоевского пятнами совершенно им не свойственными и рядом с картинами, свидетельствующими о высокой художественной прозорливости, вызывает сцены, которые доказывают какое-то уже слишком непосредственное и поверхностное понимание жизни и ее явлений».

ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

Несмотря на то что современники оценили «Идиота» не слишком высоко, роман оказал огромное влияние на идеи рубежа XIX – XX веков. Наиболее характерный пример – работы Фридриха Ницше. В «Антихристе» он пишет о «болезненном и странном мире, в который нас вводит евангелие, мире, где, как в одном русском романе, представлены, словно на подбор, отбросы общества, нервные болезни и “детский” идиотизм». Об «Идиоте» подробно писал в своих «Трех мастерах» Стефан Цвейг и в эссе о Достоевском – Андре Жид. В итоге роман был «реабилитирован» модернистами: в нем увидели не сумбурное и неровное повествование, иллюстрирующее важную для автора идею, а сложный текст о роли пророка в современном мире.

Кроме того, благодаря драматургичности романа, обилию диалогов и готовой разбивке на «сцены» в XX веке его неоднократно ставили в театре и экранизировали. Известен спектакль Георгия Товстоногова в ленинградском Большом драматическом театре (1957) с Иннокентием Смоктуновским в роли Мышкина и постановка Театра Вахтангова (1958) с Николаем Гриценко и Юлией Борисовой. Композитор Мечислав Вайнберг написал по роману оперу – премьера ее состоялась только в 2013 году, спустя почти тридцать лет после написания. Иван Пырьев снял по мотивам «Идиота» фильм (работа осталась неоконченной, режиссер перенес на экран только действие первой части), а Владимир Бортко – сериал.

«Идиот» оказался произведением, открытым для самых смелых интерпретаций на экране. Акира Куросава в своей ленте 1951 года перенес действие в послевоенную Японию, князя Мышкина сделал пленным, а высший свет – униженными войной обывателями. В 1985 году Анджей Жулавский снял по мотивам «Идиота» гангстерское кино в декорациях современного Парижа; князь Мышкин здесь натурально безумен, а не просто «не от мира сего». Анджей Вайда в «Настасье» поступил еще радикальнее: и Мышкина, и Настасью Филипповну у него играет один актер, патриарх японского театра Бандо Тамасабуру V. Не стоит забывать и хулиганскую версию Романа Качанова, «Даун Хаус», в котором роман Достоевского превратился в фарс (в финале Мышкин и Рогожин съедают Настасью Филипповну).

ПОЧЕМУ РОМАН ТАК НАЗВАН?

Слово «идиот» имеет как минимум три очень разных, даже взаимоисключающих значения.

Самое очевидное – бытовое, «дурачок». В этом смысле слово используется в тексте: идиотом называет сам себя Мышкин, в гневе так обзывают его и Ганя Иволгин, и Настасья Филипповна (приняв его за лакея), и Аглая.

Другое – медицинское. Как диагноз идиотия – наиболее тяжелая форма олигофрении, которая характеризуется отсутствием психических реакций и речи. В этом смысле Мышкин становится идиотом лишь в финале, после убийства Настасьи Филипповны. Строго говоря, Достоевский использует термин неверно: во всяком случае, в медицине олигофрению и эпилепсию не связывают. Кроме того, вылечить идиотию до такой степени, чтобы пациент мог полностью обрести все утраченные навыки, почти невозможно.

Наконец, третье и самое любопытное значение термина – архаическое, не используемое в современном языке. В Древней Греции так называли человека, живущего частной жизнью и не принимающего участия в спорах и собраниях общества. Этому определению Мышкин в общем соответствует: он хотя и спорит с обществом, проповедует ему, но существует как бы отдельно от него. На это обращает внимание в «Проблемах поэтики Достоевского» Михаил Бахтин: Мышкин, пишет он, «в особом, высшем смысле не занимает никакого положения в жизни, которое могло бы определить его поведение и ограничить его чистую человечность. С точки зрения обычной жизненной логики все поведение и все переживания князя Мышкина являются неуместными и крайне эксцентричными»^[7]. В качестве примеров этого «идиотизма» Бахтин приводит два красноречивых эпизода романа: попытку совместить две любви, к Аглае и Настасье Филипповне, и нежные, братские чувства к Рогожину, которые доходят до высшей точки после того, как Парфен убивает Настасью Филипповну. Именно в таком значении парадоксального, или, как это называет Бахтин, карнавализирующего, персонажа и стоит понимать название романа.

ЗАЧЕМ ДОСТОЕВСКИЙ НАДЕЛИЛ МЫШКИНА ЭПИЛЕПСИЕЙ?

Достоевский, сам страдавший от эпилепсии, несколько раз вводил в свои произведения героев с тем же недугом: девушка Нелли в «Униженных и оскорбленных», Мурин в «Хозяйке». Уже после «Идиота» эпилептиком будет Смердяков в «Братьях Карамазовых», а в «Бесах» перспективой эпилепсии будет угрожать Кириллову Шатов.

В случае с Мышкиным медицинский диагноз – важная составляющая образа. Именно припадки делают его сверхчувствительным, отличным от прочих героев: «... в эпилептическом состоянии его была одна степень почти пред самым припадком... когда вдруг, среди грусти, душевного мрака, давления, мгновениями как бы воспламенялся его мозг и с необыкновенным порывом напрягались разом все жизненные силы его»; «Да, за этот момент можно отдать всю жизнь!» и т. д.

Первым на это значение болезни Мышкина обратил внимание в книге «Лев Толстой и Достоевский» Дмитрий Мережковский: «...болезнь Идиота, как мы видели, – не от скудости, а от какого-то оргийного избытка жизненной силы. Это – особая, “священная болезнь”, источник не только “низшего”, но и “высшего бытия”; это – узкая, опасная стезя над пропастью, переход от низшего, грубого, животного – к новому, высшему, может быть, “сверхчеловеческому” здоровью». В этом смысле эпилепсия – инструмент, с помощью которого «идиотизм» героя может быть описан не только в его поступках и отношениях с окружающими, но и буквально, физиологически. Самый характерный пример – сцена, в которой Рогожин пытается убить Мышкина. Увидев нож в его руках, князь не пытается спастись, а только кричит: «Не верю!» «Затем, – пишет Достоевский, – вдруг как бы что-то разверзлось пред ним: необычайный внутренний свет озарил его душу. Это мгновение продолжалось, может быть, полсекунды; но он, однако же, ясно и сознательно помнил начало, самый первый звук своего страшного вопля, который вырвался из груди его сам собой и который никакою силой он не мог бы остановить. Затем сознание его угасло мгновенно, и наступил полный мрак».



Душевнобольной пациент с эпилепсией во французской лечебнице. Гравюра из книги Жана Этьена Доминика Эскироля «О душевных болезнях, рассматриваемых в медицинских, гигиенических и судебно-медицинских отношениях». 1838 год⁵

⁵ Душевнобольной пациент с эпилепсией во французской лечебнице. Гравюра из книги Жана Этьена Доминика Эскироля «О душевных болезнях, рассматриваемых в медицинских, гигиенических и судебно-медицинских отношениях». 1838 год. Wellcome Collection.

КНЯЗЬ МЫШКИН – СОВРЕМЕННЫЙ ИИСУС ХРИСТОС?

Часто в качестве источника даже внешности князя – высокого молодого человека со светлой бородкой и большими глазами – указывается Иисус Христос. Как правило, сторонники этой теории отталкиваются от определения, данного герою самим Достоевским в письмах: «князь-Христос».

Другой источник образа раскрывается, когда завязываются отношения князя и Аглаи Епанчиной. Здесь Достоевский вводит в беседу героев пушкинское стихотворение «Жил на свете рыцарь бедный...». Рассуждая о нем, Аглая фактически признаётся в любви князю: «...в стихах этих прямо изображен человек, способный иметь идеал, во-вторых, раз поставив себе идеал, поверить ему, а поверив, слепо отдать ему всю свою жизнь. Это не всегда в нашем веке случается. Там, в стихах этих, не сказано, в чем, собственно, состоял идеал “рыцаря бедного”, но видно, что это был какой-то светлый образ, “образ чистой красоты”, и влюбленный рыцарь вместо шарфа даже четки себе повязал на шею».

Леонид Гроссман обращает внимание на то, что во времена Достоевского по цензурным соображениям пушкинский текст публиковался с купюрами, без строчек, в которых упоминается Дева Мария. Поэтому Аглая и не понимает, какой именно идеал имеется в виду в «рыцаре бедном»^[8]: «Опускалась третья строфа: “Путешествуя в Женеву, / На дороге у креста / Видел он Марию Деву” и прочее. Опускалась и последняя строфа (“Но Пречистая сердечно / Заступилась за него”), что делало зашифрованным смысл всего стихотворения. Оставались прекрасные и неясные формулы: “Он имел одно виденье, / Непостижное уму...” Или: “С той поры, сгорев душою, / Он на женщин не смотрел...” Сохранялись таинственные инициалы А. М. Д. или малопонятные читателю наименования литургической латыни: “Lumen coeli, sancta Rosa!...” Но Достоевский безошибочно истолковал этот пушкинский фрагмент, построив свой образ на теме чистой любви...»

В этой же сцене появляется еще один прототип Мышкина: Аглая прячет письмо от князя в томик «Дон Кихота» и, обнаружив это, смеется совпадению. Именно сочетание князя и героя Сервантеса заставляет ее вспомнить о рыцаре бедном.

Наконец, еще одну трактовку образа Мышкина и другого литературного прототипа предлагает в своих лекциях по русской литературе Владимир Набоков, относившийся к Достоевскому скептически. Он сравнивает Мышкина не с Дон Кихотом и не с Христом, а с фольклорным Иванушкой-дурачком. Более того – встраивает героя в неожиданный контекст: «У князя Мышкина, в свою очередь, есть внук, недавно созданный современным советским писателем Михаилом Зощенко, – тип бодрого дебила, живущего на задворках полицейского тоталитарного государства, где слабоумие стало последним прибежищем человека».

ПОЧЕМУ НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА МЕЧЕТСЯ МЕЖДУ РОГОЖИНЫМ И МЫШКИНЫМ?

Бахтин в «Проблемах поэтики Достоевского» обращает внимание на то, что мотивировки поступков героев, в частности Настасьи Филипповны, часто лежат не в плоскости бытовой психологии. Ею метания героини между двумя персонажами объяснить невозможно (или можно, но тогда она окажется просто кокеткой, которая не может определиться со своими желаниями).

Настасья Филипповна, как и князь, чутко откликается на тех, кто ее окружает. Только не словом и не разговором, а действием. «Реальные голоса Мышкина и Рогожина переплетаются и пересекаются, – пишет Бахтин, – с голосами внутреннего диалога Настасьи Филипповны. Перебои ее голоса превращаются в сюжетные перебои ее взаимоотношений с Мышкиным и Рогожиным»^[9]. Каждый из героев провоцирует героиню на то, чтобы она проявляла себя определенным образом, откликалась на их «голоса». Самый характерный пример – смена интонации после монолога Мышкина («... вы уже до того несчастны, что и действительно виновною себя считаете»). До того говорившая исключительно с вызовом («... я замуж выхожу, слышали? За князя, у него полтора миллиона, он князь Мышкин и меня берет!»), она внезапно отвечает: «Спасибо, князь, со мной так никто не говорил до сих пор...» С Рогожиным же она называет себя «рогожинской»: «А теперь я гулять хочу, я ведь уличная!» Этой полифоничностью, а не психологией героини стоит объяснять истеричность, неоднородность ее образа. Она не столько истеричная, сколько чуткая и готовая поддаться любому импульсу извне.

ЗАЧЕМ ДОСТОЕВСКИЙ ВВОДИТ В ЛЮБОВНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК АГЛАЮ?

Аглая Епанчина, с одной стороны, выступает «противовесом» Настасье Филипповне – не только в отношениях с Мышкиным, но и как таковая, по природе своей. Она цельная, в ней нет амбивалентности, она не готова меняться каждый раз и откликаться на голоса тех, кто ее окружает. Не зря оппонент и критик Достоевского Владимир Набоков в своих лекциях только Аглаю описывает как абсолютно положительного героя: «Непорочно чистая, красивая, искренняя девушка. Она не хочет мириться с окружающим миром»^[10] и т. д.

Эта инакость по отношению к другим персонажам во многом и определяет роль героини в романе. Она не только «непорочно чистая», но и своенравная, и эгоистичная. Она прямым текстом говорит о том, чего хочет от Мышкина: «Все расспросить об загранице». «Я ни одного собора готического не видала, я хочу в Риме быть, я хочу все кабинеты ученые осмотреть, я хочу в Париже учиться; я весь последний год готовилась и училась и очень много книг прочла; я все запрещенные книги прочла». То есть признаётся, что хочет им воспользоваться как гарантией своей независимости. С другой стороны, в другой сцене романа она прямо сравнивает его с Дон Кихотом и «рыцарем бедным» – но это не чуткость, а скорее романтизация ухажера, радость оттого, что он может быть похож на литературных персонажей. Наконец, она открыто издевается над князем и хочет его задеть, присылая ему ежа и капризно спрашивая, собирается ли он за нее свататься.

В эпилоге Достоевский превращает Аглаю в героиню почти карикатурную. Она выходит замуж за польского революционера, который пленил ее «необычайным благородством своей истерзавшейся страданиями по отчизне души, и до того пленил, что та, еще до выхода замуж, стала членом какого-то заграничного комитета по восстановлению Польши и, сверх того, попала в католическую исповедальню какого-то знаменитого патера, овладевшего ее умом до иступления». Аглая, «западник» и «прогрессивная девушка», спорит с Мышкиным, который говорит в духе славянофилов: «Надо, чтобы воссиял в отпор Западу наш Христос, которого мы сохранили и которого они и не знали!» Некоторую карикатурность ее образа усиливает тот факт, что сразу после рассказа о ее судьбе следует филиппика в адрес Европы, вложенная Достоевским в уста Лизаветы Прокофьевны: «И все это, и вся эта заграница, и вся эта ваша Европа, все это одна фантазия, и все мы, за границей, одна фантазия».

КАКУЮ РОЛЬ В РОМАНЕ ИГРАЕТ ЖИВОПИСЬ?

Замысел «Идиота» рождался в Дрездене, где Достоевский бывал в галерее Цвингера, и Анна Григорьевна оставила подробные воспоминания о том, как потрясла его коллекция.



Ганс Гольбейн Младший. Мертвый Христос в гробу. 1521–1522 годы⁶

Упоминаются в романе и конкретные полотна. Самое известное среди них – «Мертвый Христос в гробу» Ганса Гольбейна. Мышкин видит его копию в доме Рогожина и произносит: «Да от этой картины у иного еще вера может пропасть!» Стоит заметить, что об этом же полотне писал Николай Карамзин в «Письмах русского путешественника» (в нем «не видно ничего божественного, но как умерший человек изображен он весьма естественно»), а Жорж Санд в книге «Чертово болото» пишет о Гольбейне как о художнике, который проповедовал «беспощадный пессимизм, особенно тяжелый потому, что сулит одни страдания всем обездоленным жизнью... Перед современным художником та же проблема о голодных и раздетых, о социальной вражде и гуманности»^[11]. По мнению Леонида Гроссмана, Достоевский «предполагал включить в роман трактовку князем Мышкиным гольбейнова шедевра... Вопросы атеизма и веры, реализма и натурализма здесь получили бы широкий простор. Но этот философский комментарий к Гольбейну он так и не написал, хотя картина Базельского музея поразила и восхитила его».

Наконец, и сам по себе «Идиот» – роман, если можно так сказать, живописный, изобразительный ряд играет в нем важную роль. Хотя подробнейшие описания внешности героев, отражающей их характер, в принципе свойственны романам того времени, Достоевский любопытным образом обыгрывает этот прием, например создавая особый эффект постепенного появления Настасьи Филипповны – впервые мы видим ее на фотографии дома у Епанчиных: «В черном шелковом платье, чрезвычайно простого и изящного фасона; волосы, по-видимому темно-русые, были убраны просто, по-домашнему; глаза темные, глубокие, лоб задумчивый; выражение лица страстное и как бы высокомерное. Она была несколько худа лицом, может быть, и бледна...» Наконец, только после двух «заочных» появлений героиня материализуется, происходит ее непосредственное знакомство с Мышкиным.

⁶ Ганс Гольбейн Младший. Мертвый Христос в гробу. 1521–1522 годы. Базельский художественный музей.

ПОЧЕМУ В «ИДИОТЕ» ТАК ПОДРОБНО ПОКАЗАНЫ ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ПЕРСОНАЖИ?

Отличительная черта «Идиота» – подробность, с которой описаны в романе герои второстепенные, порой комические. Большой чахоткой Ипполит, плутоватый Келлер, шут Фердыщенко, опустившийся чиновник Лебедев, пьяница и маразматик генерал Иволгин имеют свои детально расписанные «выходы». Каждый из них в определенный момент исповедуется князю.

Суть таких исповедей объясняет в «Проблемах поэтики Достоевского» Михаил Бахтин: он говорит о них как о произнесенных (или написанных) «с напряженнейшей установкой на другого, без которого герой не может обойтись, но которого он в то же время ненавидит и суда которого он не принимает». Каждый из второстепенных комических героев князя обманывает – просит денег или просто морочит голову. Но одновременно каждый из них от этих «исповедей» преобразается и раскрывается с неожиданной стороны. Келлер оказывается способным к стыду, Иволгин-старший вовсе превращается в трагическую фигуру (особенно если учесть, что в итоге он сбегает из дома и умирает на улице).

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ В РОМАНЕ ГЕРОИ ОПЕРИРУЮТ ОГРОМНЫМИ СУММАМИ ДЕНЕГ?

Современники, в частности остроумный критик Дмитрий Минаев, упрекали Достоевского в том, что его роман не имеет ровным счетом никакой связи с реальностью, его герои оперируют абстрактными понятиями и такими же нереальными суммами. Проверить достоверность быта в «Идиоте» непросто: все-таки суммы 1860-х в современные рубли (а также доллары и евро) не конвертируются. Но понять, что за деньги оказываются в руках персонажей, можно. Во время знакомства с Мышкиным генерал Епанчин, узнав о таланте князя-каллиграфа, говорит: «Прямо можно тридцать пять рублей в месяц положить, с первого шагу!» На самом деле это деньги крохотные, не случайно тут же Епанчин предлагает Мышкину снять угол в квартире Иволгиных. На 35 рублей арендовать собственное жилье в Петербурге было невозможно, самая скромная квартира в 1860-х годах стоила минимум 50 рублей в месяц. Тем же вечером князь сообщает гостям Настасьи Филипповны, что получил по завещанию тетки наследство, полтора миллиона рублей. Сумма астрономическая: дом в центре Москвы стоил порядка 50 000 рублей.

Но все эти суммы, смущавшие своим размахом современников, в романе относительны. Настасья Филипповна кидает в камин 100 000 – и этот жест воспринимается как безумие, огромные деньги горят. Когда же князь в очередном объяснении с Аглаей говорит, что его состояние – 135 000, она встречает эту фразу смехом и комментарием: «Только-то?» Деньги здесь не признак состоятельности героев, как считали Щедрин, Лесков и другие критики, а лишь те условные правила, вроде титулов и званий, среди которых живут персонажи. И которые абсолютно непонятны Мышкину.

Идиот



Часть первая

I

В конце ноября, в оттепель, часов в девять утра, поезд Петербургско-Варшавской железной дороги на всех парах подходил к Петербургу. Было так сыро и туманно, что насилу рассветло; в десяти шагах, вправо и влево от дороги, трудно было разглядеть хоть что-нибудь из окон вагона. Из пассажиров были и возвращавшиеся из-за границы; но более были наполнены отделения для третьего класса, и все людом мелким и деловым, не из очень далека. Все, как водится, устали, у всех отяжелели за ночь глаза, все назяблись, все лица были бледно-желтые, под цвет тумана.

В одном из вагонов третьего класса, с рассвета, очутились друг против друга, у самого окна, два пассажира – оба люди молодые, оба почти налегке, оба не щегольски одетые, оба с довольно замечательными физиономиями и оба пожелавшие, наконец, войти друг с другом в разговор. Если б они оба знали один про другого, чем они особенно в эту минуту замечательны, то, конечно, подивились бы, что случай так странно посадил их друг против друга в третьеклассном вагоне петербургско-варшавского поезда. Один из них был небольшого роста, лет двадцати семи, курчавый и почти черноволосый, с серыми маленькими, но огненными глазами. Нос его был широк и сплюснут, лицо скулистое; тонкие губы непрерывно складывались в какую-то наглую, насмешливую и даже злую улыбку; но лоб его был высок и хорошо сформирован и скрашивал неблагородно развитую нижнюю часть лица. Особенно приметна была в этом лице его мертвая бледность, придававшая всей физиономии молодого человека изможденный вид, несмотря на довольно крепкое сложение, и вместе с тем что-то страстное, до страдания, не гармонизировавшее с нахальной и грубою улыбкой и с резким, самодовольным его взглядом. Он был тепло одет, в широкий мерлушечий черный крытый тулуп, и за ночь не зяб, тогда как сосед его принужден был вынести на своей издрогшей спине всю сладость сырой ноябрьской русской ночи, к которой, очевидно, был не приготовлен. На нем был довольно широкий и толстый плащ без рукавов и с огромным капюшоном, точь-в-точь как употребляют часто дорожные, по зимам, где-нибудь далеко за границей, в Швейцарии или, например, в Северной Италии, не рассчитывая, конечно, при этом и на такие концы по дороге, как от Эйдткунена до Петербурга. Но что годилось и вполне удовлетворяло в Италии, то оказалось не совсем пригодным в России. Владелец плаща с капюшоном был молодой человек, тоже лет двадцати шести или двадцати семи, роста немного повыше среднего, очень белокур, густоволос, со впалыми щеками и с легонькою, востренькою, почти совершенно белою бородкой. Глаза его были большие, голубые и пристальные; во взгляде их было что-то тихое, но тяжелое, что-то полное того странного выражения, по которому некоторые угадывают с первого взгляда в субъекте падучую болезнь. Лицо молодого человека было, впрочем, приятное, тонкое и сухое, но бесцветное, а теперь даже досиня иззябшее. В руках его болтался тощий узелок из старого, полинялого фуляра, заключавший, кажется, все его дорожное достояние. На ногах его были толстоподошвенные башмаки с штиблетами, – все не по-русски. Черноволосый сосед в крытом тулупе все это разглядел, частью от нечего делать, и, наконец, спросил с тою неделикатною усмешкой, в которой так бесцеремонно и небрежно выражается иногда людское удовольствие при неудачах ближнего:

– Зябко?

И повел плечами.

– Очень, – ответил сосед с чрезвычайною готовностью, – и, заметьте, это еще оттепель. Что ж, если бы мороз? Я даже не думал, что у нас так холодно. Отвык.

– Из-за границы, что ль?

– Да, из Швейцарии.

– Фью! Эх ведь вас!..

Черноволоксы присвистнул и захохотал.

Завязался разговор. Готовность белокурого молодого человека в швейцарском плаще отвечать на все вопросы своего черномазого соседа была удивительная и без всякого подозрения совершенной небрежности, неуместности и праздности иных вопросов. Отвечая, он объявил, между прочим, что действительно долго не был в России, с лишком четыре года, что отправлен был за границу по болезни, по какой-то странной нервной болезни, вроде падучей или виттовой пляски, каких-то дрожаний и судорог. Слушая его, черномазый несколько раз усмехался; особенно засмеялся он, когда на вопрос: «Что же, вылечили?» – белокурый отвечал, что «нет, не вылечили».

– Хе! Денег что, должно быть, даром переплатили, а мы-то им здесь верим, – язвительно заметил черномазый.

– Истинная правда! – ввязался в разговор один сидевший рядом и дурно одетый господин, нечто вроде закорюзлого в подьячестве чиновника, лет сорока, сильного сложения, с красным носом и угреватым лицом, – истинная правда-с, только все русские силы даром к себе переводят!

– О, как вы в моем случае ошибаетесь, – подхватил швейцарский пациент тихим и примиряющим голосом, – конечно, я спорить не могу, потому что всего не знаю, но мой доктор мне из своих последних еще на дорогу сюда дал да два почти года там на свой счет содержал.

– Что ж, некому платить, что ли, было? – спросил черномазый.

– Да, господин Павлищев, который меня там содержал, два года назад помер; я писал потом сюда генеральше Епанчиной, моей дальней родственнице, но ответа не получил. Так с тем и приехал.

– Куда же приехали-то?

– То есть где остановлюсь?.. Да не знаю еще, право... так...

– Не решились еще?

И оба слушателя снова захохотали.

– И небось в этом узелке вся ваша суть заключается? – спросил черномазый.

– Об заклад готов биться, что так, – подхватил с чрезвычайно довольным видом красноносый чиновник, – и что дальнейшей поклажи в багажных вагонах не имеется, хотя бедность и не порок, чего опять-таки нельзя не заметить.

Оказалось, что и это было так: белокурый молодой человек тотчас же и с необыкновенною поспешностью в этом признался.

– Узелок ваш все-таки имеет некоторое значение, – продолжал чиновник, когда находились досыта (замечательно, что и сам обладатель узелка начал, наконец, смеяться, глядя на них, что увеличило их веселость), – и хотя можно побиться, что в нем не заключается золотых, заграничных свертков с наполеондорами и фридрихсдорами, ниже с голландскими арапчиками, о чем можно еще заключить хотя бы только по штиблетам, облекающим иностранные башмаки ваши, но... если к вашему узелку прибавить в придачу такую будто бы родственницу, как, примерно, генеральша Епанчина, то и узелок примет некоторое иное значение, разумеется в том только случае, если генеральша Епанчина вам действительно родственница, и вы не ошибаетесь, по рассеянности... что очень и очень свойственно человеку, ну хоть... от излишка воображения.

– О, вы угадали опять, – подхватил белокурый молодой человек, – ведь действительно почти ошибаюсь, то есть почти что не родственница; до того даже, что я, право, несколько и не удивился тогда, что мне туда не ответили. Я так и ждал.

– Даром деньги на франкировку письма истратили. Гм... по крайней мере простодушны и искренны, а сие похвально! Гм... генерала же Епанчина знаем-с, собственно потому, что человек общеизвестный; да и покойного господина Павлищева, который вас в Швейцарии содержал, тоже знавали-с, если только это был Николай Андреевич Павлищев, потому что их два двоюродные брата. Другой доселе в Крыму, а Николай Андреевич, покойник, был человек почтенный и при связях, и четыре тысячи душ в свое время имели-с...

– Точно так, его звали Николай Андреевич Павлищев, – и, ответив, молодой человек пристально и пытливо оглядел господина всезнайку.

Эти господа всезнайки встречаются иногда, даже довольно часто, в известном общественном слое. Они все знают, вся беспокойная пытливость их ума и способности устремляются неудержимо в одну сторону, конечно за отсутствием более важных жизненных интересов и взглядов, как сказал бы современный мыслитель. Под словом «всё знают» нужно разуместь, впрочем, область довольно ограниченную: где служит такой-то, с кем он знаком, сколько у него состояния, где был губернатором, на ком женат, сколько взял за женой, кто ему двоюродным братом приходится, кто троюродным и т. д., и т. д., и все в этом роде. Большею частью эти всезнайки ходят с ободранными локтями и получают по семнадцати рублей в месяц жалованья. Люди, о которых они знают всю подноготную, конечно, не придумали бы, какие интересы руководствуют ими, а между тем многие из них этим знанием, равняющимся целой науке, положительно утешены, достигают самоуважения и даже высшего духовного довольства. Да и наука соблазнительная. Я видал ученых, литераторов, поэтов, политических деятелей, обретавших и обретших в этой же науке свои высшие примирения и цели, даже положительно только этим сделавших карьеру. В продолжение всего этого разговора черномазый молодой человек зевал, смотрел без цели в окно и с нетерпением ждал конца путешествия. Он был как-то рассеян, что-то очень рассеян, чуть ли не встревожен, даже становился как-то странен: иной раз слушал и не слушал, глядел и не глядел, смеялся и подчас сам не знал и не понимал, чему смеялся.

– А позвольте, с кем имею честь... – обратился вдруг угреватый господин к белокурому молодому человеку с узелком.

– Князь Лев Николаевич Мышкин, – отвечал тот с полною и немедленною готовностью.

– Князь Мышкин? Лев Николаевич? Не знаю-с. Так что даже и не слыхивал-с, – отвечал в раздумье чиновник, – то есть я не об имени, имя историческое, в Карамзина «Истории» найти можно и должно, я об лице-с, да и князей Мышкиных уж что-то нигде не встречается, даже и слух затих-с.

– О, еще бы! – тотчас же ответил князь, – князей Мышкиных теперь и совсем нет, кроме меня; мне кажется, я последний. А что касается до отцов и дедов, то они у нас и однодворцами бывали. Отец мой был, впрочем, армии подпоручик, из юнкеров. Да вот не знаю, каким образом и генеральша Епанчина очутилась тоже из княжон Мышкиных, тоже последняя в своем роде...

– Хе-хе-хе! Последняя в своем роде! Хе-хе! Как это вы оборотили, – захихикал чиновник.

Усмехнулся тоже и черномазый. Белокурый несколько удивился, что ему удалось сказать, довольно, впрочем, плохой, каламбур.

– А представьте, я совсем не думая сказал, – пояснил он, наконец, в удивлении.

– Да уж понятно-с, понятно-с, – весело поддакнул чиновник.

– А что вы, князь, и наукам там обучались, у профессора-то? – спросил вдруг черномазый.

– Да... учился...

– А я вот ничему никогда не обучался.

– Да ведь и я так кой-чему только, – прибавил князь, чуть не в извинение. – Меня по болезни не находили возможным систематически учить.

– Рогожиных знаете? – быстро спросил черномазый.

– Нет, не знаю, совсем. Я ведь в России очень мало кого знаю. Это вы-то Рогожин?

– Да, я, Рогожин, Парфен.

– Парфен? Да уж это не тех ли самых Рогожиных... – начал было с усиленною важностью чиновник.

– Да, тех, тех самых, – быстро и с невежливым нетерпением перебил его черномазый, который вовсе, впрочем, и не обращался ни разу к угреватому чиновнику, а с самого начала говорил только одному князю.

– Да... как же это? – удивился до столбняка и чуть не выпучил глаза чиновник, у которого все лицо тотчас же стало складываться во что-то благоговейное и подобострастное, даже испуганное, – это того самого Семена Парфеновича Рогожина, потомственного почетного гражданина, что с месяц назад тому помре и два с половиной миллиона капитала оставил?

– А ты откуда узнал, что он два с половиной миллиона чистого капитала оставил? – перебил черномазый, не удостоивая и в этот раз взглянуть на чиновника, – ишь ведь! (мигнул он на него князю) и что только им от этого толку, что они прихвостнями тотчас же лезут? А это правда, что вот родитель мой помер, а я из Пскова через месяц чуть не без сапог домой еду. Ни брат подлец, ни мать ни денег, ни уведомления – ничего не прислали! Как собаке! В горячке в Пскове весь месяц пролежал!..

– А теперь миллиончик с лишком разом получить приходится, и это по крайней мере, о Господи! – всплеснул руками чиновник.

– Ну чего ему, скажите пожалуйста! – раздражительно и злобно кивнул на него опять Рогожин, – ведь я тебе ни копейки не дам, хоть ты тут вверх ногами предо мной ходи.

– И буду, и буду ходить.

– Вишь! Да ведь не дам, не дам, хошь целую неделю пляши!

– И не давай! Так мне и надо; не давай! А я буду плясать. Жену, детей малых брошу, а пред тобой буду плясать. Польсти, польсти!

– Тьфу тебя! – сплюнул черномазый. – Пять недель назад я, вот как и вы, – обратился он к князю, – с одним узелком от родителя во Псков улег, к тетке; да в горячке там и слег, а он без меня и помре. Кондрашка пришиб. Вечная память покойнику, а чуть меня тогда до смерти не убил! Верите ли, князь, вот ей-богу! Не убеги я тогда, как раз бы убил.

– Вы его чем-нибудь рассердили? – отозвался князь, с некоторым особенным любопытством рассматривая миллионера в тулупе. Но хотя и могло быть нечто достопримечательное собственно в миллионе и в получении наследства, князя удивило и заинтересовало и еще что-то другое; да и Рогожин сам почему-то особенно охотно взял князя в свои собеседники, хотя в собеседничестве нуждался, казалось, более механически, чем нравственно; как-то более от рассеянности, чем от простосердечия; от тревоги, от волнения, чтобы только глядеть на кого-нибудь и о чем-нибудь языком колотить. Казалось, что он до сих пор в горячке, и уж по крайней мере в лихорадке. Что же касается до чиновника, так тот так и повис над Рогожиным, дыхнуть не смел, ловил и взвешивал каждое слово, точно бриллианта искал.

– Рассердился-то он рассердился, да, может, и стоило, – отвечал Рогожин, – но меня пуще всего брат доехал. Про матушку нечего сказать, женщина старая, Четьи-Минеи читает, со старухами сидит, и что Сенька-брат порешит, так тому и быть. А он что же мне знать-то в свое время не дал? Понимаем-с! Оно правда, я тогда без памяти был. Тоже, говорят, телеграмма была пущена. Да телеграмма-то к тетке и приди. А она там тридцатый год вдовствует и все с юридическими сидит с утра до ночи. Монашенка не монашенка, а еще пуще того. Телеграммы-то она испугалась да, не распечатывая, в часть и представила, так она там и залегла до сих пор. Только Конев, Василий Васильич, выручил, все отписал. С покрова парчового на гробе родителя, ночью, брат кисти литые, золотые, обрезал: «Они, дескать, эвона каких денег стоят». Да ведь он за это одно в Сибирь пойти может, если я захочу, потому оно есть святотатство. Эй ты, пугало гороховое! – обратился он к чиновнику. – Как по закону: святотатство?

– Святотатство! Святотатство! – тотчас же поддакнул чиновник.

– За это в Сибирь?

– В Сибирь, в Сибирь! Тотчас в Сибирь!

– Они всё думают, что я еще болен, – продолжал Рогожин князю, – а я, ни слова не говоря, потихоньку, еще больной, сел в вагон, да и еду; отворяй ворота, братец Семен Семеныч! Он родителю покойному на меня наговаривал, я знаю. А что я действительно чрез Настасью Филипповну тогда родителя раздражил, так это правда. Тут уж я один. Попутал грех.

– Чрез Настасью Филипповну? – подобострастно промолвил чиновник, как бы что-то соображая.

– Да ведь не знаешь! – крикнул на него в нетерпении Рогожин.

– Ан и знаю! – победоносно отвечал чиновник.

– Эвона! Да мало ль Настасий Филипповн! И какая ты наглая, я тебе скажу, тварь! Ну, вот так и знал, что какая-нибудь вот этакая тварь так тотчас же и повиснет! – продолжал он князю.

– Ан, может, и знаю-с! – тормошился чиновник. – Лебедев знает! Вы, ваша светлость, меня укорять изволите, а что коли я докажу? Ан та самая Настасья Филипповна и есть, чрез которую ваш родитель вам внушить пожелал калиновым посохом, а Настасья Филипповна есть Барашкова, так сказать даже знатная барыня, и тоже в своем роде княжна, а знается с неким Тоцким, с Афанасием Ивановичем, с одним исключительно, помещиком и раскапиталистом, членом компаний и обществ, и большую дружбу на этот счет с генералом Епанчиным ведущие...

– Эге, да ты вот что! – действительно удивился, наконец, Рогожин, – тьфу, черт, да ведь он и впрямь знает.

– Все знает! Лебедев все знает! Я, ваша светлость, и с Лихачевым Алексахкой два месяца ездил, и тоже после смерти родителя, и все, то есть все углы и проулки знаю, и без Лебедева, дошло до того, что ни шагу. Ныне он в долговом отделении присутствует, а тогда и Арманс, и Коралию, и княгиню Пацкую, и Настасью Филипповну имел случай узнать, да и много чего имел случай узнать.

– Настасью Филипповну? А разве она с Лихачевым... – злобно посмотрел на него Рогожин, даже губы его побледнели и задрожали.

– Н-ничего! Н-н-ничего! Как есть ничего! – спохватился и заторопился поскорее чиновник, – н-никакими то есть деньгами Лихачев доехать не мог! Нет, это не то что Арманс. Тут один Тоцкий. Да вечером в Большом али во Французском театре в своей собственной ложе сидит. Офицеры там мало ли что промеж себя говорят, а и те ничего не могут доказать: «вот, дескать, это есть та самая Настасья Филипповна», да и только; а насчет дальнейшего – ничего! Потому что и нет ничего.

– Это вот все так и есть, – мрачно и насупившись подтвердил Рогожин, – то же мне и Залёжев тогда говорил. Я тогда, князь, в третьегоднешней отцовской бекеше через Невский перебежал, а она из магазина выходит, в карету садится. Так меня тут и прожгло. Встречаю Залёжева, тот не мне чета, ходит как приказчик от парикмахера, и лорнет в глазу, а мы у родителя в смазных сапогах да на постных щах отличались. Это, говорит, не тебе чета, это, говорит, княгиня, а зовут ее Настасьей Филипповной, фамилией Барашкова, и живет с Тоцким, а Тоцкий от нее как отвязаться теперь не знает, потому совсем то есть лет достиг настоящих, пятидесяти пяти, и жениться на первой раскрасавице во всем Петербурге хочет. Тут он мне и внушил, что сегодня же можешь Настасью Филипповну в Большом театре видеть, в балете, в ложе своей, в бенеуаре, будет сидеть. У нас, у родителя, попробуй-ка в балет сходить, – одна расправа – убьет! Я, однако же, на час втихомолку сбегал и Настасью Филипповну опять видел; всю ту ночь не спал. Наутро покойник дает мне два пятипроцентные билета, по пяти тысяч каждый, сходи, дескать, да продай, да семь тысяч пятьсот к Андреевым на контору снеси, уплати, а остальную сдачу с десяти тысяч, не заходя никуда, мне представь; буду тебя дожидаться. Билеты-то я

продал, деньги взял, а к Андреевым в контору не заходил, а пошел, никуда не глядя, в английский магазин да на все пару подвесок и выбрал, по одному бриллиантику в каждой, эдак почти как по ореху будут, четыреста рублей должен остался, имя сказал, поверили. С подвесками я к Залёжеву: так и так, идем, брат, к Настасье Филипповне. Отправились. Что у меня тогда под ногами, что предо мною, что по бокам – ничего я этого не знаю и не помню. Прямо к ней в залу вошли, сама вышла к нам. Я то есть тогда не сказался, что это я самый и есть; а «от Парфена, дескать, Рогожина, – говорит Залёжев, – вам в память встречи вчерашнего дня; соблаговолите принять». Раскрыла, взглянула, усмехнулась: «Благодарите, говорит, вашего друга господина Рогожина за его любезное внимание», – откланялась и ушла. Ну, вот зачем я тут не помер тогда же! Да если и пошел, так потому, что думал: «Все равно, живой не вернусь!» А обиднее всего мне то показалось, что этот бестия Залёжев все на себя присвоил. Я и ростом мал, и одет как холуй, и стою, молчу, на нее глаза пялю, потому стыдно, а он по всей моде, в помаде и завитой, румяный, галстух клетчатый, – так и рассыпается, так и расшаркивается, и уж наверно она его тут вместо меня приняла! «Ну, – говорю, как мы вышли, – ты у меня теперь тут не смей и подумать, понимаешь!» Смеется: «А вот как-то ты теперь Семену Парфеньчу отчет отдавать будешь?» Я, правда, хотел было тогда же в воду, домой не заходя, да думаю: «Ведь уж все равно», и как окаянный воротился домой.

– Эх! Ух! – кривился чиновник, и даже дрожь его пробирала, – а ведь покойник не то что за десять тысяч, а за десять целковых на тот свет сживывал, – кивнул он князю. Князь с любопытством рассматривал Рогожина; казалось, тот был еще бледнее в эту минуту.

– Сживывал! – переговорил Рогожин, – ты что знаешь? Тотчас, – продолжал он князю, – про все узнал, да и Залёжев каждому встречному пошел болтать. Взял меня родитель, и наверху запер, и целый час поучал. «Это я только, говорит, предуготовляю тебя, а вот я с тобой еще на ночь попрощаться зайду». Что ж ты думаешь? Поехал седой к Настасье Филипповне, земно ей кланялся, умолял и плакал; вынесла она ему, наконец, коробку, шваркнула: «Вот, говорит, тебе, старая борода, твои серьги, а они мне теперь в десять раз дороже ценой, коли из-под такой грозы их Парфен добывал. Кланяйся, говорит, и благодари Парфена Семеныча». Ну, а я этой порой, по матушкину благословиению, у Сережки Протушина двадцать рублей достал да во Псков по машине и отправился, да приехал-то в лихорадке; меня там святыми зачитывать старухи принялись, а я пьян сажу, да пошел потом по кабакам на последние, да в бесчувствии всю ночь на улице и провалялся, ан к утру горячка, а тем временем за ночь еще собаки обгрызли. Насилу очнулся.

– Ну-с, ну-с, теперь запоет у нас Настасья Филипповна! – потирая руки, хихикал чиновник, – теперь, сударь, что подвески! Теперь мы такие подвески вознаградим...

– А то, что если ты хоть раз про Настасью Филипповну какое слово молвишь, то, вот тебе Бог, тебя высеку, даром что ты с Лихачевым ездил! – вскрикнул Рогожин, крепко схватив его за руку.

– А коли высечешь, значит и не отвергнешь! Секи! Высек, и тем самым запечатлел... А вот и приехали!

Действительно, въезжали в воксал. Хотя Рогожин и говорил, что он уехал тихонько, но его уже поджидали несколько человек. Они кричали и махали ему шапками.

– Ишь, и Залёжев тут! – пробормотал Рогожин, смотря на них с торжествующею и даже как бы злобною улыбкой, и вдруг оборотился к князю. – Князь, неизвестно мне, за что я тебя полюбил. Может, оттого, что в эдакую минуту встретил, да вот ведь и его встретил (он указал на Лебедева), а ведь не полюбил же его. Приходи ко мне, князь. Мы эти штиблетишки-то с тебя снимаем, одену тебя в кунью шубу в первойшую; фрак тебе сошью первойший, жилетку белую али какую хошь, денег полны карманы набью, и... поедем к Настасье Филипповне! Придешь али нет?

– Внимайте, князь Лев Николаевич! – внушительно и торжественно подхватил Лебедев. – Ой, не упускайте! Ой, не упускайте!..

Князь Мышкин привстал, вежливо протянул Рогожину руку и любезно сказал ему:

– С величайшим удовольствием приду и очень вас благодарю за то, что вы меня полюбили. Даже, может быть, сегодня же приду, если успею. Потому, я вам скажу откровенно, вы мне сами очень понравились и особенно когда про подвески бриллиантовые рассказывали. Даже и прежде подвесок понравились, хотя у вас и сумрачное лицо. Благодарю вас тоже за обещанные мне платья и за шубу, потому мне действительно платье и шуба скоро понадобятся. Денег же у меня в настоящую минуту почти ни копейки нет.

– Деньги будут, к вечеру будут, приходи!

– Будут, будут, – подхватил чиновник, – к вечеру до зари еще будут!

– А до женского пола вы, князь, охотник большой? Сказывайте раньше!

– Я, н-н-нет! Я ведь... Вы, может быть, не знаете, я ведь, по прирожденной болезни моей, даже совсем женщин не знаю.

– Ну, коли так, – воскликнул Рогожин, – совсем ты, князь, выходишь юродивый, и таких, как ты, Бог любит!

– И таких Господь Бог любит, – подхватил чиновник.

– А ты ступай за мной, строка, – сказал Рогожин Лебедеву, и все вышли из вагона.

Лебедев кончил тем, что достиг своего. Скоро шумная ватага удалилась по направлению к Вознесенскому проспекту. Князю надо было повернуть к Литейной. Было сыро и мокро; князь расспросил прохожих, – до конца предстоявшего ему пути выходило версты три, и он решился взять извозчика.

II

Генерал Епанчин жил в собственном своем доме, несколько в стороне от Литейной, к Спасу Преображения. Кроме этого (превосходного) дома, пять шестых которого отдавались внаем, генерал Епанчин имел еще огромный дом на Садовой, приносивший тоже чрезвычайный доход. Кроме этих двух домов, у него было под самым Петербургом весьма выгодное и значительное поместье; была еще в Петербургском уезде какая-то фабрика. В старину генерал Епанчин, как всем известно было, участвовал в откупках. Ныне он участвовал и имел весьма значительный голос в некоторых солидных акционерных компаниях. Слыл он человеком с большими деньгами, с большими занятиями и с большими связями. В иных местах он сумел сделаться совершенно необходимым, между прочим и на своей службе. А между тем известно тоже было, что Иван Федорович Епанчин – человек без образования и происходит из солдатских детей; последнее, без сомнения, только к чести его могло относиться, но генерал, хоть и умный был человек, был тоже не без маленьких, весьма простительных, слабостей и не любил иных намеков. Но умный и ловкий человек он был бесспорно. Он, например, имел систему не выставляться, где надо – стушевываться, и его многие ценили именно за его простоту, именно за то, что он знал всегда свое место. А между тем, если бы только ведали эти судьи, что происходило иногда на душе у Ивана Федоровича, так хорошо знавшего свое место! Хоть и действительно он имел и практику, и опыт в житейских делах, и некоторые, очень замечательные способности, но он любил выставлять себя более исполнителем чужой идеи, чем с своим царем в голове, человеком «без лести преданным», и – куда нейдет век? – даже русским и сердечным. В последнем отношении с ним приключилось даже несколько забавных анекдотов; но генерал никогда не унывал, даже и при самых забавных анекдотах; к тому же и везло ему, даже в картах, а он играл по чрезвычайно большой и даже с намерением не только не хотел скрывать эту свою маленькую будто бы слабость к картишкам, так существенно и во многих случаях ему пригождавшуюся, но и выставлял ее. Общества он был смешанного, разумеется

во всяком случае «тузового». Но все было впереди, время терпело, время все терпело, и все должно было прийти со временем и своим чередом. Да и летами генерал Епанчин был еще, как говорится, в самом соку, то есть пятидесяти шести лет и никак не более, что во всяком случае составляет возраст цветущий, возраст, с которого по-настоящему начинается *истинная* жизнь. Здоровье, цвет лица, крепкие, хотя и черные, зубы, коренастое, плотное сложение, озабоченное выражение физиономии поутру на службе, веселое ввечеру за картами или у его сиятельства – все способствовало настоящим и грядущим успехам и устилало жизнь его превосходительства розами.

Генерал обладал цветущим семейством. Правда, тут уже не всё были розы, но было зато и много такого, на чем давно уже начали серьезно и сердечно сосредоточиваться главнейшие надежды и цели его превосходительства. Да и что, какая цель в жизни важнее и святее целей родительских? К чему прикрепиться, как не к семейству? Семейство генерала состояло из супруги и трех взрослых дочерей. Женился генерал еще очень давно, еще будучи в чине поручика, на девице почти одного с ним возраста, не обладавшей ни красотой, ни образованием, за которую он взял всего только пятьдесят душ, – правда, и послуживших к основанию его дальнейшей фортуны. Но генерал никогда не роптал впоследствии на свой ранний брак, никогда не третировал его как увлечение нерасчетливой юности и супругу свою до того уважал и до того иногда боялся ее, что даже любил. Генеральша была из княжеского рода Мышкиных, рода хотя и не блестящего, но весьма древнего, и за свое происхождение весьма уважала себя. Некто из тогдашних влиятельных лиц, один из тех покровителей, которым покровительство, впрочем, ничего не стоит, согласился заинтересоваться браком молодой княжны. Он отворил калитку молодому офицеру и толкнул его в ход; а тому даже и не толчка, а только разве одного взгляда надо было – не пропал бы даром! За немногими исключениями, супруги прожили все время своего долгого юбилея согласно. Еще в очень молодых летах своих генеральша умела найти себе, как урожденная княжна и последняя в роде, а может быть, и по личным качествам, некоторых очень высоких покровительниц. Впоследствии, при богатстве и служебном значении своего супруга, она начала в этом высшем кругу даже несколько и осваиваться.

В эти последние годы подросли и созрели все три генеральские дочери – Александра, Аделаида и Аглая. Правда, все три были только Епанчины, но по матери роду княжеского, с приданным не малым, с родителем, претендующим впоследствии, может быть, и на очень высокое место, и, что тоже довольно важно, все три были замечательно хороши собой, не исключая и старшей, Александры, которой уже минуло двадцать пять лет. Средней было двадцать три года, а младшей, Аглае, только что исполнилось двадцать. Эта младшая была даже совсем красавица и начинала в свете обращать на себя большое внимание. Но и это было еще не все: все три отличались образованием, умом и талантами. Известно было, что они замечательно любили друг друга и одна другую поддерживали. Упоминалось даже о каких-то будто бы пожертвованиях двух старших в пользу общего домашнего идола – младшей. В обществе они не только не любили выставляться, но даже были слишком скромны. Никто не мог их упрекнуть в высокомерии и заносчивости, а между тем знали, что они горды и цену себе понимают. Старшая была музыкантша, средняя была замечательный живописец; но об этом почти никто не знал многие годы, и обнаружилось это только в самое последнее время, да и то нечаянно. Одним словом, про них говорилось чрезвычайно много похвального. Но были и недоброжелатели. С ужасом говорилось о том, сколько книг они прочитали. Замуж они не торопились; известным кругом общества хотя и дорожили, но все же не очень. Это тем более было замечательно, что все знали направление, характер, цели и желания их родителя.

Было уже около одиннадцати часов, когда князь позвонил в квартиру генерала. Генерал жил во втором этаже и занимал помещение по возможности скромное, хотя и пропорциональное своему значению. Князю отворил ливрейный слуга, и ему долго нужно было объясняться с этим человеком, с самого начала посмотревшим на него и на его узелок подозрительно. Нако-

нец, на неоднократное и точное заявление, что он действительно князь Мышкин и что ему непременно надо видеть генерала по делу необходимому, недоумевающий человек препроводил его рядом, в маленькую переднюю, перед самую приемной, у кабинета, и сдал его с рук на руки другому человеку, дежурившему по утрам в этой передней и докладывавшему генералу о посетителях. Этот другой человек был во фраке, имел за сорок лет и озабоченную физиономию и был специальный кабинетный прислужник и докладчик его превосходительства, вследствие чего и знал себе цену.

– Подождите в приемной, а узелок здесь оставьте, – проговорил он, неторопливо и важно усаживаясь в свое кресло и с строгим удивлением посматривая на князя, расположившегося тут же рядом подле него на стуле, с своим узелком в руках.

– Если позволите, – сказал князь, – я бы подождал лучше здесь с вами, а там что ж мне одному?

– В передней вам не стать, потому вы посетитель, иначе гость. Вам к самому генералу?

Лакей, видимо, не мог примириться с мыслью впустить такого посетителя и еще раз решился спросить его.

– Да, у меня дело... – начал было князь.

– Я вас не спрашиваю, какое именно дело, – мое дело только об вас доложить. А без секретаря, я сказал, докладывать о вас не пойду.

Подозрительность этого человека, казалось, все более и более увеличивалась; слишком уж князь не подходил под разряд вседневных посетителей, и хотя генералу довольно часто, чуть не ежедневно, в известный час приходилось принимать, особенно по *делам*, иногда даже очень разнообразных гостей, но, несмотря на привычку и инструкцию, довольно широкую, камердинер был в большом сомнении; посредничество секретаря для доклада было необходимо.

– Да вы точно... из-за границы? – как-то невольно спросил он, наконец, – и сбился; он хотел, может быть, спросить: «Да вы точно князь Мышкин?»

– Да, сейчас только из вагона. Мне кажется, вы хотели спросить: точно ли я князь Мышкин? да не спросили из вежливости.

– Гм... – промычал удивленный лакей.

– Уверяю вас, что я не солгал вам, и вы отвечать за меня не будете. А что я в таком виде и с узелком, то тут удивляться нечего: в настоящее время мои обстоятельства неказисты.

– Гм. Я опасюсь не того, видите ли. Доложить я обязан, и к вам выйдет секретарь, окромя если вы... Вот то-то вот и есть, что окромя... Вы не по бедности просить к генералу, осмелюсь, если можно, узнать?

– О нет, в этом будьте совершенно удостоверены. У меня другое дело.

– Вы меня извините, а я на вас глядя спросил. Подождите секретаря; сам теперь занят с полковником, а затем придет и секретарь... компанейский.

– Стало быть, если долго ждать, то я бы вас попросил: нельзя ли здесь где-нибудь покурить? У меня трубка и табак с собой.

– По-ку-рить? – с презрительным недоумением вскинул на него глаза камердинер, как бы все еще не веря ушам, – покурить? Нет, здесь вам нельзя покурить, а к тому же вам стыдно и в мыслях это содержать. Хе... чудно-с!

– О, я ведь не в этой комнате просил; я ведь знаю; а я бы вышел куда-нибудь, где бы вы указали, потому я привык, а вот уж часа три не курил. Впрочем, как вам угодно, и, знаете, есть поговорка: в чужой монастырь...

– Ну как я об вас об таком доложу? – пробормотал почти невольно камердинер. – Первое то, что вам здесь и находиться не следует, а в приемной сидеть, потому вы сами на линии посетителя, иначе гость, и с меня спросится... Да вы что же, у нас жить, что ли, намерены? – прибавил он, еще раз наклонившись на узелок князя, очевидно не дававший ему покоя.

– Нет, не думаю. Даже если б и пригласили, так не останусь. Я просто познакомится только приехал и больше ничего.

– Как? Познакомится? – с удивлением и с утроенною подозрительностью спросил камердинер, – как же вы сказали сперва, что по делу?

– О, почти не по делу! То есть, если хотите, и есть одно дело, так только совета спросить, но я, главное, чтоб отрекомендоваться, потому я князь Мышкин, а генеральша Епанчина тоже последняя из княжон Мышкиных, и, кроме меня с нею, Мышкиных больше и нет.

– Так вы еще и родственник? – встрепенулся уже почти совсем испуганный лакей.

– И это почти что нет. Впрочем, если натягивать, конечно, родственники, но до того отдаленные, что, по-настоящему, и считаться даже нельзя. Я раз обращался к генеральше из-за границы с письмом, но она мне не ответила. Я все-таки почел нужным завязать сношения по возвращении. Вам же все это теперь объясняю, чтобы вы не сомневались, потому вижу, вы все еще беспокоитесь: доложите, что князь Мышкин, и уж в самом докладе причина моего посещения видна будет. Примут – хорошо, не примут – тоже, может быть, очень хорошо. Только не могут, кажется, не принять: генеральша уж конечно захочет видеть старшего и единственного представителя своего рода, а она породу свою очень ценит, как я об ней в точности слышал.

Казалось бы, разговор князя был самый простой; но чем он был проще, тем и становился в настоящем случае нелепее, и опытный камердинер не мог не почувствовать что-то, что совершенно прилично человеку с человеком и совершенно неприлично гостю с *человеком*. А так как *люди* гораздо умнее, чем обыкновенно думают про них их господа, то и камердинеру зашло в голову, что тут два дела: или князь так, какой-нибудь потаскун и непременно пришел на бедность просить, или князь просто дурачок и амбиции не имеет, потому что умный князь и с амбицией не стал бы в передней сидеть и с лакеем про свои дела говорить, а стало быть, и в том и в другом случае, не пришлось бы за него отвечать?

– А все-таки вам в приемную бы пожаловать, – заметил он по возможности настойчивее.

– Да вот сидел бы там, так вам бы всего и не объяснил, – весело засмеялся князь, – а, стало быть, вы все еще беспокоились бы, глядя на мой плащ и узелок. А теперь вам, может, и секретаря ждать нечего, а пойти бы и доложить самим.

– Я посетителя такого, как вы, без секретаря доложить не могу, а к тому же и сами, особливо давеча, заказали их не тревожить ни для кого, пока там полковник, а Гаврила Ардалионыч без доклада идет.

– Чиновник-то?

– Гаврила-то Ардалионыч? Нет. Он в Компании от себя служит. Узелок-то постановьте хоть вон сюда.

– Я уж об этом думал; если позволите. И, знаете, сниму я и плащ?

– Конечно, не в плаще же входить к нему.

Князь встал, поспешно снял с себя плащ и остался в довольно приличном и ловко сшитом, хотя и поношенном уже пиджаке. По жилету шла стальная цепочка. На цепочке оказались женевские серебряные часы.

Хотя князь был и дурачок, – лакей уж это решил, – но все-таки генеральскому камердинеру показалось, наконец, неприличным продолжать долее разговор от себя с посетителем, несмотря на то, что князь ему почему-то нравился, в своем роде, конечно. Но с другой точки зрения, он возбуждал в нем решительное и грубое негодование.

– А генеральша когда принимает? – спросил князь, усаживаясь опять на прежнее место.

– Это уж не мое дело-с. Принимают розно, судя по лицу. Модистку и в одиннадцать допустит. Гаврилу Ардалионыча тоже раньше других допускают, даже к раннему завтраку допускают.

– Здесь у вас в комнатах теплее, чем за границей зимой, – заметил князь, – а вот там зато на улицах теплее нашего, а в домах зимой – так русскому человеку и жить с непривычки нельзя.

– Не топят?

– Да, да и дома устроены иначе, то есть печи и окна.

– Гм! А долго вы изволили ездить?

– Да четыре года. Впрочем, я все на одном почти месте сидел, в деревне.

– Отвыкли от нашего-то?

– И это правда. Верите ли, дивлюсь на себя, как говорить по-русски не забыл. Вот с вами говорю теперь, а сам думаю: «А ведь я хорошо говорю». Я, может, потому так много и говорю. Право, со вчерашнего дня все говорить по-русски хочется.

– Гм! Хе! В Петербурге-то прежде жилали? (Как ни крепился лакей, а невозможно было не поддержать такой учтивый и вежливый разговор.)

– В Петербурге? Совсем почти нет, так только проездом. И прежде ничего здесь не знал, а теперь столько, слышно, нового, что, говорят, кто и знал-то, так сызнова узнавать переучивается. Здесь про суды теперь много говорят.

– Гм!.. Суды. Суды-то оно правда, что суды. А что, как там, справедливее в суде или нет?

– Не знаю. Я про наши много хорошего слышал. Вот опять у нас смертной казни нет.

– А там казнят?

– Да. Я во Франции видел, в Лионе. Меня туда Шнейдер с собою брал.

– Вешают?

– Нет, во Франции всё головы рубят.

– Что же, кричит?

– Куды! В одно мгновение. Человека кладут, и падает этакий широкий нож, по машине, гильотиной называется, тяжело, сильно... Голова отскочит так, что и глазом не успеешь мигнуть. Приготовления тяжелы. Вот когда объявляют приговор, снаряжают, вяжут, на эшафот взводят, вот тут ужасно! Народ сбегается, даже женщины, хоть там и не любят, чтобы женщины глядели.

– Не их дело.

– Конечно! Конечно! Этакую муку!.. Преступник был человек умный, бесстрашный, сильный, в летах, Легро по фамилии. Ну вот, я вам говорю, верьте не верьте, на эшафот всходил – плакал, белый как бумага. Разве это возможно? Разве не ужас? Ну, кто же со страху плачет? Я и не думал, чтоб от страху можно было заплакать не ребенку, человеку, который никогда не плакал, человеку в сорок пять лет. Что же с душой в эту минуту делается, до каких судорог ее доводят? Надругательство над душой, больше ничего! Сказано: «не убий», так за то, что он убил, и его убивать? Нет, это нельзя. Вот я уж месяц назад это видел, а до сих пор у меня как пред глазами. Раз пять снилось.

Князь даже одушевился говоря, легкая краска проступила в его бледное лицо, хотя речь его по-прежнему была тихая. Камердинер с сочувствующим интересом следил за ним, так что оторваться, кажется, не хотелось; может быть, тоже был человек с воображением и попыткой на мысль.

– Хорошо еще вот, что муки немного, – заметил он, – когда голова отлетает.

– Знаете ли что? – горячо подхватил князь, – вот вы это заметили, и это все точно так же замечают, как вы, и машина для того выдумана, гильотина. А мне тогда же пришла в голову одна мысль: а что, если это даже и хуже? Вам это смешно, вам это дико кажется, а при некотором воображении даже и такая мысль в голову вскочит. Подумайте: если, например, пытка; при этом страдания и раны, мука телесная, и, стало быть, все это от душевного страдания отвлекает, так что одними только ранами и мучаешься, вплоть пока умрешь. А ведь главная, самая сильная боль, может, не в ранах, а вот что вот знаешь наверно, что вот через час, потом через десять минут, потом через полминуты, потом теперь, вот сейчас – душа из тела вылетит, и что человеком уж больше не будешь, и что это уж наверно; главное то, что *наверно*. Вот как голову кладешь под самый нож и слышишь, как он склизнет над головой, вот эти-

то четверть секунды всего и страшнее. Знаете ли, что это не моя фантазия, а что так многие говорили? Я до того этому верю, что прямо вам скажу мое мнение. Убивать за убийство несоразмерно большее наказание, чем самое преступление. Убийство по приговору несоразмерно ужаснее, чем убийство разбойничье. Тот, кого убивают разбойники, режут ночью, в лесу, или как-нибудь, непременно еще надеется, что спасется, до самого последнего мгновения. Примеры бывали, что уж горло перерезано, а он еще надеется, или бежит, или просит. А тут, всю эту последнюю надежду, с которою умирать в десять раз легче, отнимают *наверно*; тут приговор, и в том, что наверно не избежешь, вся ужасная-то мука и сидит, и сильнее этой муки нет на свете. Приведите и поставьте солдата против самой пушки на сражении и стреляйте в него, он еще все будет надеяться, но прочтите этому самому солдату приговор *наверно*, и он с ума сойдет или заплачет. Кто сказал, что человеческая природа в состоянии вынести это без сумасшествия? Зачем такое ругательство, безобразное, ненужное, напрасное? Может быть, и есть такой человек, которому прочли приговор, дали помучиться, а потом сказали: «Ступай, тебя прощают». Вот эдакой человек, может быть, мог бы рассказать. Об этой муке и об этом ужасе и Христос говорил. Нет, с человеком так нельзя поступать!

Камердинер хотя и не мог бы так выразить все это, как князь, но, конечно, хотя не все, но главное понял, что видно было даже по умилившемуся лицу его.

– Если уж так вам желательно, – промолвил он, – покурить, то оно, пожалуй, и можно, коли только поскорее. Потому вдруг спросит, а вас и нет. Вот тут под лесенкой, видите, дверь. В дверь войдете, направо каморка: там можно, только форточку растворите, потому оно не порядок...

Но князь не успел сходить покурить. В переднюю вдруг вошел молодой человек, с бумагами в руках. Камердинер стал снимать с него шубу. Молодой человек скосил глаза на князя.

– Это, Гаврила Ардалионыч, – начал конфиденциально и почти фамильярно камердинер, – докладываются, что князь Мышкин и барыни родственник, приехал с поездом из-за границы, и узелок в руке, только...

Дальнейшего князь не услышал, потому что камердинер начал шептать. Гаврила Ардалионович слушал внимательно и поглядывал на князя с большим любопытством, наконец перестал слушать и нетерпеливо приблизился к нему.

– Вы князь Мышкин? – спросил он чрезвычайно любезно и вежливо. Это был очень красивый молодой человек, тоже лет двадцати восьми, стройный блондин, средневысокого роста, с маленькою, наполеоновскою бородкой, с умным и очень красивым лицом. Только улыбка его, при всей ее любезности, была что-то уж слишком тонка; зубы выставлялись при этом что-то уж слишком жемчужно-ровно; взгляд, несмотря на всю веселость и видимое простодушие его, был что-то уж слишком пристален и испытующ.

«Он, должно быть, когда один, совсем не так смотрит и, может быть, никогда не смеется», – почувствовалось как-то князю.

Князь объяснил все, что мог, наскоро, почти то же самое, что уже прежде объяснял камердинеру и еще прежде Рогожину. Гаврила Ардалионович меж тем как будто что-то припоминал.

– Не вы ли, – спросил он, – изволили с год назад или даже ближе прислать письмо, кажется из Швейцарии, к Елизавете Прокофьевне?

– Точно так.

– Так вас здесь знают и наверно помнят. Вы к его превосходительству? Сейчас я доложу... Он сейчас будет свободен. Только вы бы... вам бы пожаловать пока в приемную... Зачем они здесь? – строго обратился он к камердинеру.

– Говорю, сами не захотели...

В это время вдруг отворилась дверь из кабинета, и какой-то военный, с портфелем в руке, громко говоря и откланиваясь, вышел оттуда.

– Ты здесь, Ганя? – крикнул голос из кабинета, – а пожалуй-ка сюда!

Гаврила Ардалионович кивнул головой князю и поспешно прошел в кабинет.

Минуты через две дверь отворилась снова, и послышался звонкий и приветливый голос Гаврилы Ардалионовича:

– Князь, пожалуйста!

III

Генерал, Иван Федорович Епанчин, стоял посреди своего кабинета и с чрезвычайным любопытством смотрел на входящего князя, даже шагнул к нему два шага. Князь подошел и отрекомендовался.

– Так-с, – отвечал генерал, – чем же могу служить?

– Дела неотлагательного я никакого не имею; цель моя была просто познакомиться с вами. Не желал бы беспокоить, так как я не знаю ни вашего дня, ни ваших распоряжений... Но я только что сам из вагона... приехал из Швейцарии...

Генерал чуть-чуть было усмехнулся, но подумал и приостановился; потом еще подумал, прищурился, оглядел еще раз своего гостя с ног до головы, затем быстро указал ему стул, сам сел несколько наискось и в нетерпеливом ожидании повернулся к князю. Ганя стоял в углу кабинета, у бюро, и разбирал бумаги.

– Для знакомств вообще я мало времени имею, – сказал генерал, – но так как вы, конечно, имеете свою цель, то...

– Я так и предчувствовал, – перебил князь, – что вы непременно увидите в посещении моем какую-нибудь особенную цель. Но, ей-богу, кроме удовольствия познакомиться, у меня нет никакой частной цели.

– Удовольствие, конечно, и для меня чрезвычайное, но не все же забавы, иногда, знаете, случаются и дела... Притом же я никак не могу до сих пор разглядеть между нами общего... так сказать, причины...

– Причины нет, бесспорно, и общего, конечно, мало. Потому что если я князь Мышкин и ваша супруга из нашего рода, то это, разумеется, не причина. Я это очень понимаю. Но, однако ж, весь-то мой повод в этом только и заключается. Я года четыре в России не был, с лишком; да и что я выехал: почти не в своем уме! И тогда ничего не знал, а теперь еще пуще. В людях хороших нуждаюсь; даже вот и дело одно имею и не знаю, куда сунуться. Еще в Берлине подумал: «Это почти родственники, начну с них; может быть, мы друг другу и пригодимся, они мне, я им, – если они люди хорошие». А я слышал, что вы люди хорошие.

– Очень благодарен-с, – удивлялся генерал, – позвольте узнать, где остановились?

– Я еще нигде не остановился.

– Значит, прямо из вагона ко мне? И... с поклажей?

– Да со мной поклажи всего один маленький узелок с бельем, и больше ничего; я его в руке обыкновенно несу. Я номер успею и вечером занять.

– Так вы все еще имеете намерение номер занять?

– О да, конечно.

– Судя по вашим словам, я было подумал, что вы уж так прямо ко мне.

– Это могло быть, но не иначе как по вашему приглашению. Я же, признаюсь, не остался бы и по приглашению, не почему-либо, а так... по характеру.

– Ну, стало быть, и кстати, что я вас не пригласил и не приглашаю. Позвольте еще, князь, чтоб уж разом все разъяснить: так как вот мы сейчас договорились, что насчет родственности между нами и слова не может быть, – хотя мне, разумеется, весьма было бы лестно, – то, стало быть...

– То, стало быть, вставать и уходить? – приподнялся князь, как-то даже весело рассмеявшись, несмотря на всю видимую затруднительность своих обстоятельств. – И вот, ей-богу же, генерал, хоть я ровно ничего не знаю практически ни в здешних обычаях, ни вообще как здесь люди живут, но так я и думал, что у нас непременно именно это и выйдет, как теперь вышло. Что ж, может быть, оно так и надо... Да и тогда мне тоже на письмо не ответили... Ну, прощайте и извините, что беспокоил.

Взгляд князя был до того ласков в эту минуту, а улыбка его до того без всякого оттенка хотя бы какого-нибудь затаенного неприязненного ощущения, что генерал вдруг остановился и как-то вдруг другим образом посмотрел на своего гостя; вся перемена взгляда совершилась в одно мгновение.

– А знаете, князь, – сказал он совсем почти другим голосом, – ведь я вас все-таки не знаю, да и Елизавета Прокофьевна, может быть, захочет посмотреть на однофамильца... Подождите, если хотите, коли у вас время терпит.

– О, у меня время терпит; у меня время совершенно мое (и князь тотчас же поставил свою мягкую, круглополюю шляпу на стол). Я, признаюсь, так и рассчитывал, что, может быть, Елизавета Прокофьевна вспомнит, что я ей писал. Давеча ваш слуга, когда я у вас там дожидался, подозревал, что я на бедность пришел к вам просить; я это заметил, а у вас, должно быть, на этот счет строгие инструкции; но я, право, не за этим, а право, для того только, чтобы с людьми сойтись. Вот только думаю немного, что я вам помешал, и это меня беспокоит.

– Вот что, князь, – сказал генерал с веселою улыбкой, – если вы в самом деле такой, каким кажетесь, то с вами, пожалуй, и приятно будет познакомиться; только видите, я человек занятой, и вот тотчас же опять сяду кой-что просмотреть и подписать, а потом отправлюсь к его сиятельству, а потом на службу, так и выходит, что я хоть и рад людям... хорошим, то есть... но... Впрочем, я так убежден, что вы превосходно воспитаны, что... А сколько вам лет, князь?

– Двадцать шесть.

– Ух! А я думал, гораздо меньше.

– Да, говорят, у меня лицо молодежовое. А не мешать вам я научусь и скоро пойму, потому что сам очень не люблю мешать... И, наконец, мне кажется, мы такие разные люди на вид... по многим обстоятельствам, что у нас, пожалуй, и не может быть много точек общих, но, знаете, я в эту последнюю идею сам не верю, потому очень часто только так кажется, что нет точек общих, а они очень есть... это от лености людской происходит, что люди так промеж собой на глаз сортируются и ничего не могут найти... А впрочем, я, может быть, скучно начал? Вы, как будто...

– Два слова-с: имеете вы хотя бы некоторое состояние? Или, может быть, какие-нибудь занятия намерены предпринять? Извините, что я так...

– Помилуйте, я ваш вопрос очень ценю и понимаю. Никакого состояния покамест я не имею и никаких занятий, тоже покамест, а надо бы-с. А деньги теперь у меня были чужие, мне дал Шнейдер, мой профессор, у которого я лечился и учился в Швейцарии, на дорогу, и дал ровно впрямь, так что теперь, например, у меня всего денег несколько копеек осталось. Дело у меня, правда, есть одно, и я нуждаюсь в совете, но...

– Скажите, чем же вы намереваетесь покамест прожить и какие были ваши намерения? – перебил генерал.

– Трудиться как-нибудь хотел.

– О, да вы философ; а впрочем... знаете за собой таланты, способности, хотя бы некоторые, то есть из тех, которые насущный хлеб дают? Извините опять...

– О, не извиняйтесь. Нет-с, я думаю, что не имею ни талантов, ни особых способностей; даже напротив, потому что я больной человек и правильно не учился. Что же касается до хлеба, то мне кажется...

Генерал опять перебил и опять стал спрашивать. Князь снова рассказал все, что было уже рассказано. Оказалось, что генерал слышал о покойном Павлицеве и даже знал лично. Почему Павлицев интересовался его воспитанием, князь и сам не мог объяснить, – впрочем, просто, может быть, по старой дружбе с покойным отцом его. Остался князь после родителей еще малым ребенком, всю жизнь проживал и рос по деревням, так как и здоровье его требовало сельского воздуха. Павлицев доверил его каким-то старым помещицам, своим родственницам, для него нанималась сначала гувернантка, потом гувернер; он объявил, впрочем, что хотя и все помнит, но мало может удовлетворительно объяснить, потому что во многом не давал себе отчета. Частые припадки его болезни сделали из него совсем почти идиота (князь так и сказал «идиота»). Он рассказал, наконец, что Павлицев встретился однажды в Берлине с профессором Шнейдером, швейцарцем, который занимается именно этими болезнями, имеет заведение в Швейцарии, в кантоне Валлийском, лечит по своей методе холодной водой, гимнастикой, лечит и от идиотизма и от сумасшествия, при этом обучает и берется вообще за духовное развитие; что Павлицев отправил его к нему в Швейцарию лет назад около пяти, а сам два года тому назад умер, внезапно, не сделав распоряжений; что Шнейдер держал и долечивал его еще года два; что он его не вылечил, но очень много помог; и что, наконец, по его собственному желанию и по одному встретившемуся обстоятельству, отправил его теперь в Россию.

Генерал очень удивился.

– И у вас в России никого, решительно никого? – спросил он.

– Теперь никого, но я надеюсь... притом я получил письмо...

– По крайней мере, – перебил генерал, не расслышав о письме, – вы чему-нибудь обучались, и ваша болезнь не мешает вам занять какое-нибудь, например, нетрудное место, в какой-нибудь службе?

– О, наверно не мешает. И насчет места я бы очень даже желал, потому что самому хочется посмотреть, к чему я способен. Учился же я все четыре года постоянно, хотя и не совсем правильно, а так, по особой его системе, и при этом очень много русских книг удалось прочесть.

– Русских книг? Стало быть, грамоту знаете и писать без ошибок можете?

– О, очень могу.

– Прекрасно-с; а почерк?

– А почерк превосходный. Вот в этом у меня, пожалуй, и талант; в этом я просто каллиграф. Дайте мне, я вам сейчас напишу что-нибудь для пробы, – с жаром сказал князь.

– Сделайте одолжение. И это даже надо... И люблю я эту вашу готовность, князь, вы очень, право, милы.

– У вас же такие славные письменные принадлежности, и сколько у вас карандашей, сколько перьев, какая плотная, славная бумага... И какой славный у вас кабинет! Вот этот пейзаж я знаю, это вид швейцарский. Я уверен, что живописец с натуры писал, и я уверен, что это место я видел: это в кантоне Ури...

– Очень может быть, хотя это и здесь куплено. Ганя, дайте князю бумагу; вот перья и бумага, вот на этот столик пожалуйста. Что это? – обратился генерал к Гане, который тем временем вынул из своего портфеля и подал ему фотографический портрет большого формата, – ба! Настасья Филипповна! Это сама, сама тебе прислала, сама? – оживленно и с большим любопытством спрашивал он Ганю.

– Сейчас, когда я был с поздравлением, дала. Я давно уже просил. Не знаю, уж не намек ли это с ее стороны, что я сам приехал с пустыми руками, без подарка, в такой день, – прибавил Ганя, неприятно улыбаясь.

– Ну, нет, – с убеждением перебил генерал, – и какой, право, у тебя склад мыслей! Станет она намекать... да и не интересанка совсем. И притом, чем ты станешь дарить: ведь тут надо тысячи! Разве портретом? А что, кстати, не просила еще она у тебя портрета?

– Нет, еще не просила; да, может быть, и никогда не попросит. Вы, Иван Федорович, помните, конечно, про сегодняшний вечер? Вы ведь из нарочито приглашенных.

– Помню, помню, конечно, и буду. Еще бы, день рождения, двадцать пять лет! Гм... А знаешь, Ганя, я уж, так и быть, тебе открою, приготовься. Афанасию Ивановичу и мне она обещала, что сегодня у себя вечером скажет последнее слово: быть или не быть! Так смотри же, знай.

Ганя вдруг смутился, до того, что даже побледнел немного.

– Она это наверно сказала? – спросил он, и голос его как бы дрогнул.

– Третьего дня слово дала. Мы так приставали оба, что вынудили. Только тебе просила до времени не передавать.

Генерал пристально рассматривал Ганю; смущение Гани ему видимо не нравилось.

– Помните, Иван Федорович, – сказал тревожливо и колеблясь Ганя, – что ведь она дала мне полную свободу решения до тех самых пор, пока не решит сама дела, да и тогда все еще мое слово за мной...

– Так разве ты... так разве ты... – испугался вдруг генерал.

– Я ничего.

– Помилуй, что же ты с нами-то хочешь делать?

– Я ведь не отказываюсь. Я, может быть, не так выразился...

– Еще бы ты-то отказывался! – с досадой проговорил генерал, не желая даже и сдерживать досады. – Тут, брат, дело уж не в том, что ты *не* отказываешься, а дело в твоей готовности, в удовольствии, в радости, с которою примешь ее слова... Что у тебя дома делается?

– Да что дома? Дома все состоит в моей воле, только отец по обыкновению дурачится, но ведь это совершенный безобразник сделался; я с ним уж и не говорю, но, однако ж, в тисках держу, и, право, если бы не мать, так указал бы дверь. Мать все, конечно, плачет; сестра злится, а я им прямо сказал, наконец, что я господин своей судьбы, и в доме желаю, чтобы меня... слушались. Сестре по крайней мере все это отчеканил, при матери.

– А я, брат, продолжаю не постигать, – задумчиво заметил генерал, несколько вскинув плечами и немного расставив руки. – Нина Александровна тоже намедни, вот когда приходила-то, помнишь? стонет и охает. «Чего вы?» – спрашиваю. Выходит, что им будто бы тут бесчестье. Какое же тут бесчестье, позвольте спросить? Кто в чем может Настасью Филипповну укорить или что-нибудь про нее указать? Неужели то, что она с Тоцким была? Но ведь это такой уже вздор, при известных обстоятельствах особенно! «Вы, говорит, не пустите ее к вашим дочерям?» Ну! Эвона! Ай да Нина Александровна! То есть, как это не понимать, как это не понимать...

– Своего положения? – подсказал Ганя затруднившемуся генералу, – она понимает; вы на нее не сердитесь. Я, впрочем, тогда же намылил голову, чтобы в чужие дела не совались. И, однако, до сих пор все тем только у нас в доме и держится, что последнего слова еще не сказано, а гроза грянет. Если сегодня скажется последнее слово, стало быть, и все скажется.

Князь слышал весь этот разговор, сидя в уголке за своею каллиграфскою пробой. Он кончил, подошел к столу и подал свой листок.

– Так это Настасья Филипповна? – промолвил он, внимательно и любопытно поглядев на портрет, – удивительно хороша! – прибавил он тотчас же с жаром. На портрете была изображена действительно необыкновенной красоты женщина. Она была сфотографирована в черном шелковом платье, чрезвычайно простого и изящного фасона; волосы, по-видимому темно-русые, были убраны просто, по-домашнему; глаза темные, глубокие, лоб задумчивый; выражение лица страстное и как бы высокомерное. Она была несколько худа лицом, может быть, и бледна... Ганя и генерал с изумлением посмотрели на князя...

– Как, Настасья Филипповна! Разве вы уж знаете и Настасью Филипповну? – спросил генерал.

– Да; всего только сутки в России, а уж такую красавицу знаю, – ответил князь и тут же рассказал про свою встречу с Рогожиным и передал весь рассказ его.

– Вот еще новости! – опять затревожился генерал, чрезвычайно внимательно выслушавший рассказ, и пытливо поглядел на Ганю.

– Вероятно, одно только безобразие, – пробормотал тоже несколько замешавшийся Ганя, – купеческий сынок гуляет. Я про него что-то уже слышал.

– Да и я, брат, слышал, – подхватил генерал. – Тогда же, после серег, Настасья Филипповна весь анекдот пересказывала. Да ведь дело-то теперь уже другое. Тут, может быть, действительно миллион сидит и... страсть, безобразная страсть, положим, но все-таки страстью пахнет, а ведь известно, на что эти господа способны, во всем хмелю!.. Гм!.. Не вышло бы анекдота какого-нибудь! – заключил генерал задумчиво.

– Вы миллиона опасаетесь? – осклабился Ганя.

– А ты нет, конечно?

– Как вам показалось, князь, – обратился вдруг к нему Ганя, – что это, серьезный какой-нибудь человек или только так, безобразник? Собственно ваше мнение?

В Гане что-то происходило особенное, когда он задавал этот вопрос. Точно новая и особенная какая-то идея загорелась у него в мозгу и нетерпеливо засверкала в глазах его. Генерал же, который искренно и простосердечно беспокоился, тоже покосился на князя, но как бы не ожидая много от его ответа.

– Не знаю, как вам сказать, – ответил князь, – только мне показалось, что в нем много страсти, и даже какой-то большой страсти. Да он и сам еще совсем как будто больной. Очень может быть, что с первых же дней в Петербурге и опять сляжет, особенно если закутит.

– Так? Вам так показалось? – уцепился генерал за эту идею.

– Да, показалось.

– И, однако ж, этого рода анекдоты могут происходить и не в несколько дней, а еще до вечера, сегодня же, может, что-нибудь обернется, – усмехнулся генералу Ганя.

– Гм!.. Конечно... Пожалуй, а уж тогда все дело в том, как у ней в голове мелькнет, – сказал генерал.

– А ведь вы знаете, какова она иногда?

– То есть какова же? – вскинулся опять генерал, достигший чрезвычайного расстройства. – Послушай, Ганя, ты, пожалуйста, сегодня ей много не противоречь и постарайся эдак, знаешь, быть... одним словом, быть по душе... Гм!.. Что ты так рот-то кривишь? Слушай, Гаврила Ардалионыч, кстати, очень даже кстати будет теперь сказать: из-за чего мы хлопочем? Понимаешь, что я относительно моей собственной выгоды, которая тут сидит, уже давно обеспечен; я так или иначе, а в свою пользу дело решу. Тоцкий решение свое принял непоколебимо, стало быть и я совершенно уверен. И потому если я теперь желаю чего, так это единственно твоей пользы. Сам посуди; не доверяешь ты, что ли, мне? Притом же ты человек... человек... одним словом, человек умный, и я на тебя понадеялся... а это, в настоящем случае, это... это...

– Это главное, – договорил Ганя, опять помогая затруднившемуся генералу и скорчив свои губы в ядовитейшую улыбку, которую уже не хотел скрывать. Он глядел своим воспаленным взглядом прямо в глаза генералу, как бы даже желая, чтобы тот прочел в его взгляде всю его мысль. Генерал побагровел и вспылил.

– Ну да, ум главное! – поддакнул он, резко смотря на Ганю, – и смешной же ты человек, Гаврила Ардалионыч! Ты ведь точно рад, я замечаю, этому купчику, как выходу для себя. Да тут именно чрез ум надо бы с самого начала дойти; тут именно надо понять и... и поступить с обеих сторон честно и прямо, не то... предупредить заранее, чтобы не компрометировать других, тем паче что и времени к тому было довольно, и даже еще и теперь его остается довольно (генерал значительно поднял брови), несмотря на то, что остается всего только несколько часов... Ты понял? Понял? Хочешь ты или не хочешь, в самом деле? Если не хочешь,

скажи, и – милости просим. Никто вас, Гаврила Ардалионыч, не удерживает, никто насильно в капкан не тащит, если вы только видите тут капкан.

– Я хочу, – вполголоса, но твердо промолвил Ганя, потупил глаза и мрачно замолк.

Генерал был удовлетворен. Генерал погорячился, но уж видимо раскаивался, что далеко зашел. Он вдруг оборотился к князю, и, казалось, по лицу его вдруг прошла беспокойная мысль, что ведь князь был тут и все-таки слышал. Но он мгновенно успокоился: при одном взгляде на князя можно была вполне успокоиться.

– Ого! – вскричал генерал, смотря на образчик каллиграфии, представленный князем, – да ведь это пропись! Да и пропись-то редкая! Посмотри-ка, Ганя, каков талант!

На толстом веленовом листе князь написал средневековым русским шрифтом фразу: «Смиранный игумен Пафнутий руку приложил».

– Вот это, – разъяснял князь с чрезвычайным удовольствием и одушевлением, – это собственная подпись игумена Пафнутия, со снимка четырнадцатого столетия. Они превосходно подписывались, все эти наши старые игумены и митрополиты, и с каким иногда вкусом, с каким старанием! Неужели у вас нет хоть погодинского издания, генерал? Потом я вот тут написал другим шрифтом: это круглый крупный французский шрифт прошлого столетия, иные буквы даже иначе писались, шрифт площадной, шрифт публичных писцов, заимствованный с их образчиков (у меня был один), – согласитесь сами, что он не без достоинств. Взгляните на эти круглые *d*, *a*. Я перевел французский характер в русские буквы, что очень трудно, а вышло удачно. Вот и еще прекрасный и оригинальный шрифт, вот эта фраза: «Усердие все превозмогает». Это шрифт русский, писарский или, если хотите, военно-писарский. Так пишется казенная бумага к важному лицу, тоже круглый шрифт, славный, *черный* шрифт, черно написано, но с замечательным вкусом. Каллиграф не допустил бы этих росчерков или, лучше сказать, этих попыток расчеркнуться, вот этих недоконченных полухвостиков, – замечаете, – а в целом, посмотрите, оно составляет ведь характер, и право, вся тут военно-писарская душа проглянула: разгуляться бы и хотелось, и талант просится, да воротник военный туго на крючок стянут, дисциплина и в почерке вышла, прелесть! Это недавно меня один образчик такой поразил, случайно нашел, да еще где? в Швейцарии! Ну, вот это простой, обыкновенный и чистейший английский шрифт: дальше уж изящество не может идти, тут все прелесть, бисер, жемчуг; это закончено; но вот и вариация, и опять французская, я ее у одного французского путешествующего комми⁷ заимствовал: тот же английский шрифт, но черная линия капельку почернее и потолще, чем в английском, ан – пропорция света и нарушена; и заметьте тоже: овал изменен, капельку круглее и вдобавок позволен росчерк, а росчерк – это наиопаснейшая вещь! Росчерк требует необыкновенного вкуса; но если только он удался, если только найдена пропорция, то эдакой шрифт ни с чем не сравним, так даже, что можно влюбиться в него.

– Ого! да в какие вы тонкости заходите, – смеялся генерал, – да вы, батюшка, не просто каллиграф, вы артист, а? Ганя?

– Удивительно, – сказал Ганя, – и даже с сознанием своего назначения, – прибавил он, смеясь насмешливо.

– Смейся, смейся, а ведь тут карьера, – сказал генерал. – Вы знаете, князь, к какому лицу мы теперь вам бумаги писать дадим? Да вам прямо можно тридцать пять рублей в месяц положить, с первого шагу. Однако уж половина первого, – заключил он, взглянув на часы, – к делу, князь, потому мне надо поспешить, а сегодня, может, мы с вами не встретимся! Присядьте-ка на минутку; я вам уже изъяснил, что принимать вас очень часто не в состоянии; но помочь вам капельку искренно желаю, капельку, разумеется, то есть в виде необходимейшего, а там как уж вам самим будет угодно. Местечко в канцелярии я вам приищу, не тугое, но потребует аккуратности. Теперь-с насчет дальнейшего: в доме, то есть в семействе Гаврилы Ардалионыча Ивол-

⁷ Комми (*фр.* – commis) – разъездной торговый агент.

гина, вот этого самого молодого моего друга, с которым прошу познакомиться, маменька его и сестрица очистили в своей квартире две-три меблированные комнаты и отдают их отлично рекомендованным жильцам, со столом и прислугой. Мою рекомендацию, я уверен, Нина Александровна примет. Для вас же, князь, это даже больше чем клад, во-первых, потому, что вы будете не один, а так сказать, в недрах семейства, а по моему взгляду, вам нельзя с первого шагу очутиться одним в такой столице, как Петербург. Нина Александровна, маменька, и Варвара Ардалионовна, сестрица Гаврилы Ардалионыча, – дамы, которых я уважаю чрезмерно. Нина Александровна, супруга Ардалиона Александровича, отставленного генерала, моего бывшего товарища по первоначальной службе, но с которым я, по некоторым обстоятельствам, прекратил сношения, что, впрочем, не мешает мне в своем роде уважать его. Все это я вам изъясняю, князь, с тем, чтобы вы поняли, что я вас, так сказать, лично рекомендую, следовательно, за вас как бы тем ручаюсь. Плата самая умеренная, и я надеюсь, жалованье ваше вскорости будет совершенно к тому достаточно. Правда, человеку необходимы и карманные деньги, хотя бы некоторые, но вы не рассердитесь, князь, если я вам замечу, что вам лучше бы избегать карманных денег, да и вообще денег в кармане. Так по взгляду моему на вас говорю. Но так как теперь у вас кошелек совсем пуст, то, для первоначалу, позвольте вам предложить вот эти двадцать пять рублей. Мы, конечно, сочтемся, и если вы такой искренний и задушевный человек, каким кажетесь на словах, то затруднений и тут между нами выйти не может. Если же я вами так интересуюсь, то у меня на ваш счет есть даже некоторая цель; впоследствии вы ее узнаете. Видите, я с вами совершенно просто; надеюсь, Ганя, ты ничего не имеешь против помещения князя в вашей квартире?

– О, напротив! И мамаша будет очень рада... – вежливо и предупредительно подтвердил Ганя.

– У вас ведь, кажется, только еще одна комната и занята. Этот, как его, Ферд... Фер...

– Фердыщенко.

– Ну да; не нравится мне этот ваш Фердыщенко: сальный шут какой-то. И не понимаю, почему его так поощряет Настасья Филипповна? Да он взаправду, что ли, ей родственник?

– О нет, все это шутка! И не пахнет родственником.

– Ну, черт с ним! Ну, так как же, вы, князь, довольны или нет?

– Благодарю вас, генерал, вы поступили со мной как чрезвычайно добрый человек, тем более что я даже и не просил; я не из гордости это говорю; я и действительно не знал, куда голову приклонить. Меня, правда, давеча позвал Рогожин.

– Рогожин? Ну, нет; я бы вам посоветовал отечески или, если больше любите, дружески, и забыть о господине Рогожине. Да и вообще советовал бы вам придерживаться семейства, в которое вы поступите.

– Если уж вы так добры, – начал было князь, – то вот у меня одно дело. Я получил уведомление...

– Ну, извините, – перебил генерал, – теперь ни минуты более не имею. Сейчас я скажу о вас Лизавете Прокофьевне: если она пожелает принять вас теперь же (я уж в таком виде постараюсь вас отрекомендовать), то советую воспользоваться случаем и понравиться, потому Лизавета Прокофьевна очень может вам пригодиться; вы же однофамилец. Если не пожелает, то не взыщите, когда-нибудь в другое время. А ты, Ганя, взгляни-ка покамест на эти счета, мы давеча с Федосеевым бились. Их надо бы не забыть включить...

Генерал вышел, и князь так и не успел рассказать о своем деле, о котором начинал было чуть ли не в четвертый раз. Ганя закурил папиросу и предложил князю; князь принял, но не заговаривал, не желая помешать, и стал рассматривать кабинет; но Ганя едва взглянул на лист бумаги, исписанный цифрами, указанный ему генералом. Он был рассеян: улыбка, взгляд, задумчивость Гани стали еще более тяжелы, на взгляд князя, когда они оба остались

наедине. Вдруг он подошел к князю; тот в эту минуту стоял опять над портретом Настасьи Филипповны и рассматривал его.

– Так вам нравится такая женщина, князь? – спросил он его вдруг, пронзительно смотря на него. И точно будто бы у него было какое чрезвычайное намерение.

– Удивительное лицо! – ответил князь, – и я уверен, что судьба ее не из обыкновенных. Лицо веселое, а она ведь ужасно страдала, а? Об этом глаза говорят, вот эти две косточки, две точки под глазами в начале щек. Это гордое лицо, ужасно гордое, и вот не знаю, добра ли она? Ах, кабы добра! Все было бы спасено!

– А женились бы *вы* на такой женщине? – продолжал Ганя, не спуская с него своего воспаленного взгляда.

– Я не могу жениться ни на ком, я нездоров, – сказал князь.

– А Рогожин женился бы? Как вы думаете?

– Да что же, жениться, я думаю, и завтра же можно; женился бы, а чрез неделю, пожалуй, и зарезал бы ее.

Только что выговорил это князь, Ганя вдруг так вздрогнул, что князь чуть не вскрикнул.

– Что с вами? – проговорил он, хватая его за руку.

– Ваше сиятельство! Его превосходительство просят вас пожаловать к ее превосходительству, – возвестил лакей, появляясь в дверях. Князь отправился вслед за лакеем.

IV

Все три девицы Епанчины были барышни здоровые, цветущие, рослые, с удивительными плечами, с мощною грудью, с сильными, почти как у мужчин, руками, и, конечно, вследствие своей силы и здоровья, любили иногда хорошо покушать, чего вовсе и не желали скрывать. Маменька их, генеральша Лизавета Прокофьевна, иногда косилась на откровенность их аппетита, но так как иные мнения ее, несмотря на всю наружную почтительность, с которою принимались дочерьми, в сущности давно уже потеряли первоначальный и бесспорный авторитет между ними, и до такой даже степени, что установившийся согласный конклав трех девиц сплошь да рядом начинал пересиливать, то и генеральша, в видах собственного достоинства, нашла удобнее не спорить и уступать. Правда, характер весьма часто не слушался и не подчинялся решениям благоразумия; Лизавета Прокофьевна становилась с каждым годом все капризнее и нетерпеливее, стала даже какая-то чудачка, но так как под рукой все-таки оставался весьма покорный и приученный муж, то излишнее и накопившееся изливалось обыкновенно на его голову, а затем гармония в семействе восстанавливалась опять, и все шло как не надо лучше.

Генеральша, впрочем, и сама не теряла аппетита, и обыкновенно, в половине первого, принимала участие в обильном завтраке, похожем почти на обед, вместе с дочерьми. По чашке кофею выпивалось барышнями еще раньше, ровно в десять часов, в постелях, в минуту пробуждения. Так им полюбилось и установилось раз навсегда. В половине же первого накрывался стол в маленькой столовой, близ мамашиних комнат, и к этому семейному и интимному завтраку являлся иногда и сам генерал, если позволяло время. Кроме чаю, кофею, сыру, меду, масла, особых оладий, излюбленных самою генеральшей, котлет и прочего, подавался даже крепкий, горячий бульон. В то утро, в которое начался наш рассказ, все семейство собралось в столовой в ожидании генерала, обещавшего явиться к половине первого. Если б он опоздал хоть минуту, за ним тотчас же послали бы; но он явился аккуратно. Подойдя поздороваться с супругой и поцеловать у ней ручку, он заметил в лице ее на этот раз что-то слишком особенное. И хотя он еще накануне предчувствовал, что так именно и будет сегодня по одному «анекдоту» (как он сам по привычке своей выражался) и, уже засыпая вчера, об этом беспокоился, но все-таки теперь опять струсил. Дочери подошли с ним поцеловаться; тут хотя и не

сердились на него, но все-таки и тут было тоже как бы что-то особенное. Правда, генерал, по некоторым обстоятельствам, стал излишне подозрителен; но так как он был отец и супруг опытный и ловкий, то тотчас же и взял свои меры.

Может быть, мы не очень повредим выпуклости нашего рассказа, если остановимся здесь и прибегнем к помощи некоторых пояснений для прямой и точнейшей постановки тех отношений и обстоятельств, в которых мы находим семейство генерала Епанчина в начале нашей повести. Мы уже сказали сейчас, что сам генерал хотя был человек и не очень образованный, а, напротив, как он сам выражался о себе, «человек самоучный», но был, однако же, опытным супругом и ловким отцом. Между прочим, он принял систему не торопить дочерей своих замуж, то есть не «висеть у них над душой» и не беспокоить их слишком томлением своей родительской любви об их счастье, как невольно и естественно происходит сплошь да рядом даже в самых умных семействах, в которых накаплиются взрослые дочери. Он даже достиг того, что склонил и Лизавету Прокофьевну к своей системе, хотя дело вообще было трудное, – трудное потому, что и неестественное; но аргументы генерала были чрезвычайно значительны, основывались на осязаемых фактах. Да и предоставленные вполне своей воле и своим решениям, невесты, натурально, принуждены же будут, наконец, взяться сами за ум, и тогда дело загорится, потому что возьмутся за дело охотой, отложив капризы и излишнюю разборчивость; родителям оставалось бы только неусыпнее и как можно неприметнее наблюдать, чтобы не произошло какого-нибудь странного выбора или неестественного уклонения, а затем, улучив надлежащий момент, разом помочь всеми силами и направить дело всеми влияниями. Наконец, уж одно то, что с каждым годом, например, росло в геометрической прогрессии их состояние и общественное значение; следственно, чем более уходило время, тем более выигрывали и дочери, даже как невесты. Но среди всех этих неотразимых фактов наступил и еще один факт: старшей дочери, Александре, вдруг и совсем почти неожиданно (как и всегда это так бывает), минуло двадцать пять лет. Почти в то же самое время и Афанасий Иванович Тоцкий, человек высшего света, с высшими связями и необыкновенного богатства, опять обнаружил свое старинное желание жениться. Это был человек лет пятидесяти пяти, изящного характера, с необыкновенною утонченностью вкуса. Ему хотелось жениться хорошо; ценитель красоты он был чрезвычайный. Так как с некоторого времени он с генералом Епанчиным состоял в необыкновенной дружбе, особенно усиленной взаимным участием в некоторых финансовых предприятиях, то и сообщил ему, так сказать, прося дружеского совета и руководства: возможно или нет предположение об его браке с одною из его дочерей? В тихом и прекрасном течении семейной жизни генерала Епанчина наступал очевидный переворот.

Бесспорною красавицей в семействе, как уже сказано было, была младшая, Аглая. Но даже сам Тоцкий, человек чрезвычайно эгоизма, понял, что не тут ему надо искать и что Аглая не ему предназначена. Может быть, несколько слепая любовь и слишком горячая дружба сестер и преувеличивали дело, но судьба Аглаи предназначалась между ними, самым искренним образом, быть не просто судьбой, а возможным идеалом земного рая. Будущий муж Аглаи должен был быть обладателем всех совершенств и успехов, не говоря уже о богатстве. Сестры даже положили между собой, и как-то без особенных лишних слов, о возможности, если надо, пожертвования с их стороны в пользу Аглаи: приданое для Аглаи предназначалось колоссальное и из ряду вон. Родители знали об этом соглашении двух старших сестер и потому, когда Тоцкий попросил совета, между ними почти и сомнений не было, что одна из старших сестер, наверно, не откажется увенчать их желания, тем более что Афанасий Иванович не мог затрудниться насчет приданого. Предложение же Тоцкого сам генерал оценил тотчас же, с свойственным ему знанием жизни, чрезвычайно высоко. Так как и сам Тоцкий наблюдал покамест, по некоторым особым обстоятельствам, чрезвычайную осторожность в своих шагах и только еще сондировал дело, то и родители предложили дочерям на вид только еще самые отдаленные предположения. В ответ на это было получено от них, тоже хоть не совсем определенное, но по

крайней мере успокоительное заявление, что старшая, Александра, пожалуй, и не откажется. Это была девушка хотя и с твердым характером, но добрая, разумная и чрезвычайно уживчивая; могла выйти за Тоцкого даже охотно, и если бы дала слово, то исполнила бы его честно. Блеска она не любила, не только не грозила хлопотами и крутым переворотом, но могла даже усладить и успокоить жизнь. С собой она была очень хороша, хотя и не так эффектна. Что могло быть лучше для Тоцкого?

И, однако же, дело продолжало идти все еще ощупью. Взаимно и дружески, между Тоцким и генералом, положено было до времени избегать всякого формального и безвозвратного шага. Даже родители все еще не начинали говорить с дочерьми совершенно открыто; начинался как будто и диссонанс: генеральша Епанчина, мать семейства, становилась почему-то недовольною, а это было очень важно. Тут было одно мешавшее всему обстоятельство, один мудреный и хлопотливый случай, из-за которого все дело могло расстроиться безвозвратно.

Этот мудреный и хлопотливый «случай» (как выражался сам Тоцкий) начался еще очень давно, лет восемнадцать этак назад. Рядом с одним из богатейших поместий Афанасия Ивановича, в одной из срединных губерний, бедствовал один мелкопоместный и беднейший помещик. Это был человек замечательный по своим непрерывным и анекдотическим неудачам, — один отставной офицер, хорошей дворянской фамилии, и даже в этом отношении почище Тоцкого, некто Филипп Александрович Барашков. Весь задолжавшийся и заложившийся, он успел уже, наконец, после каторжных, почти мужичьих, трудов устроить кое-как свое маленькое хозяйство удовлетворительно. При малейшей удаче он необыкновенно ободрялся. Ободренный и просиявший надеждами, он отлучился на несколько дней в свой уездный городок, чтобы повидаться и, буде возможно, столковаться окончательно с одним из главнейших своих кредиторов. На третий день по прибытии его в город явился к нему из его деревеньки его староста, верхом, с обожженною щекой и обгоревшею бородой и возвестил ему, что «вотчина сгорела», вчера, в самый полдень, причем «изволили сгореть и супруга, а деточки целы остались». Этого сюрприза даже и Барашков, приученный к «синьякам фортуны», не мог вынести; он сошел с ума и чрез месяц помер в горячке. Сгоревшее имение, с разбредшимися по миру мужиками было продано за долги; двух же маленьких девочек, шести и семи лет, детей Барашкова, по великодушью своему, принял на свое иждивение и воспитание Афанасий Иванович Тоцкий. Они стали воспитываться вместе с детьми управляющего Афанасия Ивановича, одного отставного и многосемейного чиновника и притом немца. Вскоре осталась одна только девочка, Настя, а младшая умерла от коклюша; Тоцкий же вскоре совсем и забыл о них обеих, проживая за границей. Лет пять спустя, однажды, Афанасий Иванович, проездом, вздумал заглянуть в свое поместье и вдруг заметил в деревенском своем доме, в семействе своего немца, прелестного ребенка, девочку лет двенадцати, резвую, милую, умненькую и обещающую необыкновенную красоту; в этом отношении Афанасий Иванович был знаток безошибочный. В этот раз он пробыл в поместье всего несколько дней, но успел распорядиться; в воспитании девочки произошла значительная перемена: приглашена была почтенная и пожилая гувернантка, опытная в высшем воспитании девиц, швейцарка, образованная и преподававшая, кроме французского языка, и разные науки. Она поселилась в деревенском доме, и воспитание маленькой Настасьи приняло чрезвычайные размеры. Ровно чрез четыре года это воспитание кончилось; гувернантка уехала, а за Настей приехала одна барыня, тоже какая-то помещица и тоже соседка господина Тоцкого по имению, но уже в другой, далекой губернии, и взяла Настю с собой, вследствие инструкции и полномочия от Афанасия Ивановича. В этом небольшом поместье оказался тоже, хотя и небольшой, только что отстроенный деревянный дом; убран он был особенно изящно, да и деревенька, как нарочно, называлась сельцо Отрадное. Помещица привезла Настю прямо в этот тихий домик, и так как сама она, бездетная вдова, жила всего в одной версте, то и сама поселилась вместе с Настей. Около Насти явилась старуха ключница и молодая, опытная горничная. В доме нашлись музыкальные инструменты, изящная девичья библиотека,

картины, эстампы, карандаши, кисти, краски, удивительная левретка, а чрез две недели пожаловал и сам Афанасий Иванович... С тех пор он как-то особенно полюбил эту глухую, степную свою деревеньку, заезжал каждое лето, гостил по два, даже по три месяца, и так прошло довольно долгое время, года четыре, спокойно и счастливо, со вкусом и изящно.

Однажды случилось, что как-то в начале зимы, месяца четыре спустя после одного из летних приездов Афанасия Ивановича в Отрадное, заезжавшего на этот раз всего только на две недели, пронесся слух, или, лучше сказать, дошел как-то слух до Настасьи Филипповны, что Афанасий Иванович в Петербурге женится на красавице, на богатой, на знатной, – одним словом, делает солидную и блестящую партию. Слух этот оказался потом не во всех подробностях верным: свадьба и тогда была еще только в проекте, и все еще было очень неопределенно, но в судьбе Настасьи Филипповны все-таки произошел с этого времени чрезвычайный переворот. Она вдруг выказала необыкновенную решимость и обнаружила самый неожиданный характер. Долго не думая, она бросила свой деревенский домик и вдруг явилась в Петербург, прямо к Тоцкому, одна-одинехонька. Тот изумился, начал было говорить; но вдруг оказалось, почти с первого слова, что надобно совершенно изменить слог, диапазон голоса, прежние темы приятных и изящных разговоров, употреблявшиеся доселе с таким успехом, логику – все, все, все! Пред ним сидела совершенно другая женщина, нисколько не похожая на ту, которую он знал доселе и оставил всего только в июле месяце, в сельце Отрадном.

Эта новая женщина, оказалось, во-первых, необыкновенно много знала и понимала, – так много, что надо было глубоко удивляться, откуда могла она приобрести такие сведения, выработать в себе такие точные понятия. (Неужели из своей девичьей библиотеки?) Мало того, она даже юридически чрезвычайно много понимала и имела положительное знание, если не света, то о том по крайней мере, как некоторые дела текут на свете; во-вторых, это был совершенно не тот характер, как прежде, то есть не что-то робкое, пансионски неопределенное, иногда очаровательное по своей оригинальной резвости и наивности, иногда грустное и задумчивое, удивленное, недоверчивое, плачущее и беспокойное.

Нет: тут хохотало пред ним и колело его ядовитейшими сарказмами необыкновенное и неожиданное существо, прямо заявившее ему, что никогда оно не имело к нему в своем сердце ничего, кроме глубочайшего презрения, презрения до тошноты, наступившего тотчас же после первого удивления. Эта новая женщина объявляла, что ей в полном смысле все равно будет, если он сейчас же и на ком угодно женится, но что она приехала не позволить ему этот брак, и не позволить по злости, единственно потому, что ей так хочется, и что, следственно, так и быть должно, – «ну, хоть для того, чтобы мне только посмеяться над тобой вволю, потому что теперь и я, наконец, смеяться хочу».

Так по крайней мере она выражалась; всего, что было у ней на уме, она, может быть, и не высказала. Но покамест новая Настасья Филипповна хохотала и все это излагала, Афанасий Иванович обдумывал про себя это дело и, по возможности, приводил в порядок несколько разбитые свои мысли. Это обдумывание продолжалось немало времени; он вникал и решался окончательно почти две недели: но чрез две недели его решение было принято. Дело в том, что Афанасию Ивановичу в то время было уже около пятидесяти лет, и человек он был в высшей степени солидный и установившийся. Постановка его в свете и в обществе давным-давно совершилась на самых прочных основаниях. Себя, свой покой и комфорт он любил и ценил более всего на свете, как и следовало в высшей степени порядочному человеку. Ни малейшего нарушения, ни малейшего колебания не могло быть допущено в том, что всею жизнью устанавливалось и приняло такую прекрасную форму. С другой стороны, опытность и глубокий взгляд на вещи подсказали Тоцкому очень скоро и необыкновенно верно, что он имеет теперь дело с существом совершенно из ряду вон, что это именно такое существо, которое не только грозит, но и непременно сделает, и, главное, ни пред чем решительно не остановится, тем более что решительно ничем в свете не дорожит, так что даже и соблазнить его невозможно. Тут,

очевидно, было что-то другое, подразумевалась какая-то душевная и сердечная бурда, – что-то вроде какого-то романического негодования, Бог знает на кого и за что, какого-то ненасытного чувства презрения, совершенно выскочившего из мерки, – одним словом, что-то в высшей степени смешное и недозволенное в порядочном обществе и с чем встретиться для всякого порядочного человека составляет чистейшее Божие наказание. Разумеется, с богатством и со связями Тоцкого можно было тотчас же сделать какое-нибудь маленькое и совершенно невинное злодейство, чтоб избавиться от неприятности. С другой стороны, было очевидно, что и сама Настасья Филипповна почти ничего не в состоянии сделать вредного, в смысле, например, хоть юридическом; даже и скандала не могла бы сделать значительного, потому что так легко ее можно было всегда ограничить. Но все это в таком только случае, если бы Настасья Филипповна решилась действовать, как все и как вообще в подобных случаях действуют, не выскакивая слишком эксцентрично из мерки. Но тут-то и пригодилась Тоцкому его верность взгляда: он сумел разгадать, что Настасья Филипповна и сама отлично понимает, как безвредна она в смысле юридическом, но что у ней совсем другое на уме и... в сверкавших глазах ее. Ничем не дорожа, а пуще всего собой (нужно было очень много ума и проникновения, чтобы догадаться в эту минуту, что она давно уже перестала дорожить собой, и чтоб ему, скептику и светскому цинику, поверить серьезности этого чувства), Настасья Филипповна в состоянии была самое себя погубить, безвозвратно и безобразно, Сибирью и каторгой, лишь бы надругаться над человеком, к которому она питала такое бесчеловечное отвращение. Афанасий Иванович никогда не скрывал, что он был несколько трусоват или, лучше сказать, в высшей степени консервативен. Если б он знал, например, что его убьют под венцом или произойдет что-нибудь в этом роде, чрезвычайно неприличное, смешное и непринятое в обществе, то он, конечно бы, испугался, но при этом не столько того, что его убьют и ранят до крови или плюнут всепублично в лицо и пр., и пр., а того, что это произойдет с ним в такой неестественной и непринятой форме. А ведь Настасья Филипповна именно это и пророчила, хотя еще и молчала об этом; он знал, что она в высшей степени его понимала и изучила, а следственно знала, чем в него и ударить. А так как свадьба действительно была еще только в намерении, то Афанасий Иванович смирился и уступил Настасье Филипповне.

Решению его помогло и еще одно обстоятельство: трудно было вообразить себе, до какой степени не походила эта новая Настасья Филипповна на прежнюю лицом. Прежде это была только очень хорошенькая девочка, а теперь... Тоцкий долго не мог простить себе, что он четыре года глядел и не разглядел. Правда, много значит и то, когда с обеих сторон, внутренне и внезапно, происходит переворот. Он припоминал, впрочем, и прежде мгновения, когда иногда странные мысли приходили ему при взгляде, например, на эти глаза: как бы предчувствовался в них какой-то глубокий и таинственный мрак. Этот взгляд глядел – точно задавал загадку. В последние два года он часто удивлялся изменению цвета лица Настасьи Филипповны; она становилась ужасно бледна и – странно – даже хорошела от этого. Тоцкий, который, как все погулявшие на своем веку джентльмены, с презрением смотрел вначале, как дешево досталась ему эта нежившая душа, в последнее время несколько усомнился в своем взгляде. Во всяком случае, у него положено было еще прошлой весной в скором времени отлично и с достатком выдать Настасью Филипповну замуж за какого-нибудь благоразумного и порядочного господина, служащего в другой губернии. (О, как ужасно и как зло смеялась над этим теперь Настасья Филипповна!) Но теперь Афанасий Иванович, прельщенный новизной, подумал даже, что он мог бы вновь эксплуатировать эту женщину. Он решил поселить Настасью Филипповну в Петербурге и окружить роскошным комфортом. Если не то, так другое: Настасьей Филипповной можно было щегольнуть и даже потщеславиться в известном кружке. Афанасий же Иванович так дорожил своею славой по этой части.

Прошло уже пять лет петербургской жизни, и, разумеется, в такой срок многое определилось. Положение Афанасия Ивановича было неутешительное; всего хуже было то, что он,

струсив раз, уже никак потом не мог успокоиться. Он боялся – и даже сам не знал чего, – просто боялся Настасьи Филипповны. Некоторое время, в первые два года, он стал было подозревать, что Настасья Филипповна сама желает вступить с ним в брак, но молчит из необыкновенного тщеславия и ждет настойчиво его предложения. Претензия была бы странная; Афанасий Иванович морщился и тяжело задумывался. К большому и (таково сердце человека!) к несколько неприятному своему изумлению, он вдруг, по одному случаю, убедился, что если бы даже он и сделал предложение, то его бы не приняли. Долгое время он не понимал этого. Ему показалось возможным одно только объяснение, что гордость «оскорбленной и фантастической женщины» доходит уже до такого исступления, что ей скорее приятнее выказать раз свое презрение в отказе, чем навсегда определить свое положение и достигнуть недостижимого величия. Хуже всего было то, что Настасья Филипповна ужасно много взяла верху. На интерес тоже не поддавалась, даже на очень крупный, и хотя приняла предложенный ей комфорт, но жила очень скромно и почти ничего в эти пять лет не скопила. Афанасий Иванович рискнул было на очень хитрое средство, чтобы разбить свои цепи: неприметно и искусно он стал соблазнять ее, чрез ловкую помощь, разными идеальнейшими соблазнами; но олицетворенные идеалы: князья, гусары, секретари посольств, поэты, романисты, социалисты даже – ничто не произвело никакого впечатления на Настасью Филипповну, как будто у ней вместо сердца был камень, а чувства иссохли и вымерли раз навсегда. Жила она больше уединенно, читала, даже училась, любила музыку. Знакомств имела мало; она все зналась с какими-то бедными и смешными чиновницами, знала двух каких-то актрис, каких-то старух, очень любила многочисленное семейство одного почтенного учителя, и в семействе этом и ее очень любили и с удовольствием принимали. Довольно часто по вечерам сходились к ней пять-шесть человек знакомых, не более. Тоцкий являлся очень часто и аккуратно. В последнее время не без труда познакомился с Настасьей Филипповной генерал Епанчин. В то же время совершенно легко и без всякого труда познакомился с ней и один молодой чиновник, по фамилии Фердыщенко, очень неприличный и сальный шут, с претензиями на веселость и выпивающий. Был знаком один молодой и странный человек, по фамилии Птицын, скромный, аккуратный и вылощенный, происшедший из нищеты и сделавшийся ростовщиком. Познакомился, наконец, и Гаврила Ардалионович... Кончилось тем, что про Настасью Филипповну установилась странная слава: о красоте ее знали все, но и только; никто не мог ничем похвалиться, никто не мог ничего рассказать. Такая репутация, ее образование, изящная манера, остроумие – все это утвердило Афанасия Ивановича окончательно на известном плане. Тут-то и начинается тот момент, с которого принял в этой истории такое деятельное и чрезвычайное участие сам генерал Епанчин.

Когда Тоцкий так любезно обратился к нему за дружеским советом насчет одной из его дочерей, то тут же, самым благороднейшим образом, сделал полнейшие и откровенные признания. Он открыл, что решился уже не останавливаться *ни пред какими* средствами, чтобы получить свою свободу; что он не успокоился бы, если бы Настасья Филипповна даже сама объявила ему, что впредь оставит его в полном покое; что ему мало слов, что ему нужны самые полные гарантии. Столковались и решились действовать сообща. Первоначально положено было испытать средства самые мягкие и затронуть, так сказать, одни «благородные струны сердца». Оба приехали к Настасье Филипповне, и Тоцкий прямехонько начал с того, что объявил ей о невыносимом ужасе своего положения; обвинил он себя во всем; откровенно сказал, что не может раскаяться в первоначальном поступке с нею, потому что он сластолюбец закоренелый и в себе не властен, но что теперь он хочет жениться и что вся судьба этого в высшей степени приличного и светского брака в ее руках; одним словом, что он ждет всего от ее благородного сердца. Затем стал говорить генерал Епанчин, в своем качестве отца, и говорил резонно, избегнул трогательного, упомянул только, что вполне признает ее право на решение судьбы Афанасия Ивановича, ловко щегольнул собственным смирением, представив на вид, что судьба его

дочери, а может быть, и двух других дочерей, зависит теперь от ее же решения. На вопрос Настасьи Филипповны: «чего именно от нее хотят?» – Тоцкий с прежнею, совершенно обнаженною прямою признался ей, что он так напуган еще пять лет назад, что не может даже и теперь совсем успокоиться, до тех пор пока Настасья Филипповна сама не выйдет за кого-нибудь замуж. Он тотчас же прибавил, что просьба эта была бы, конечно, с его стороны нелепа, если б он не имел насчет ее некоторых оснований. Он очень хорошо заметил и положительно узнал, что молодой человек, очень хорошей фамилии, живущий в самом достойном семействе, а именно Гаврила Ардалионович Иволгин, которого она знает и у себя принимает, давно уже любит ее всею силой страсти и, конечно, отдал бы половину жизни за одну надежду приобрести ее симпатию. Признания эти Гаврила Ардалионович сделал ему, Афанасию Ивановичу, сам, и давно уже, по-дружески и от чистого молодого сердца, и что об этом давно уже знает и Иван Федорович, благодетельствующий молодому человеку. Наконец, если только он, Афанасий Иванович, не ошибается, любовь молодого человека давно уже известна самой Настасье Филипповне, и ему показалось даже, что она смотрит на эту любовь снисходительно. Конечно, ему всех труднее говорить об этом. Но если Настасья Филипповна захотела бы допустить в нем, в Тоцком, кроме эгоизма и желания устроить свою собственную участь, хотя несколько желания добра и ей, то поняла бы, что ему давно странно и даже тяжело смотреть на ее одиночество: что тут один только неопределенный мрак, полное неверие в обновление жизни, которая так прекрасно могла бы воскреснуть в любви и в семействе и принять таким образом новую цель; что тут гибель способностей, может быть блестящих, добровольное любование своею тоской, одним словом, даже некоторый романтизм, не достойный ни здравого ума, ни благородного сердца Настасьи Филипповны. Повторив еще раз, что ему труднее других говорить, он заключил, что не может отказаться от надежды, что Настасья Филипповна не ответит ему презрением, если он выразит свое искреннее желание обеспечить ее участь в будущем и предложит ей сумму в семьдесят пять тысяч рублей. Он прибавил в пояснение, что эта сумма все равно назначена уже ей в его завещании; одним словом, что тут вовсе не вознаграждение какое-нибудь... и что, наконец, почему же не допустить и не извинить в нем человеческого желания хоть чем-нибудь облегчить свою совесть и т. д., и т. д., все, что говорится в подобных случаях на эту тему. Афанасий Иванович говорил долго и красноречиво, присовокупив, так сказать мимоходом, очень любопытное сведение, что об этих семидесяти пяти тысячах он заикнулся теперь в первый раз и что о них не знал даже и сам Иван Федорович, который вот тут сидит; одним словом, не знает *никто*.

Ответ Настасьи Филипповны изумил обоих друзей.

Не только не было заметно в ней хотя бы малейшего появления прежней насмешки, прежней вражды и ненависти, прежнего хохоту, от которого, при одном воспоминании, до сих пор проходил холод по спине Тоцкого, но, напротив, она как будто обрадовалась тому, что может, наконец, поговорить с кем-нибудь откровенно и по-дружески. Она призналась, что сама давно желала спросить дружеского совета, что мешала только гордость, но что теперь, когда лед разбит, ничего и не могло быть лучше. Сначала с грустной улыбкой, а потом весело и резво рассмеявшись, она призналась, что прежней бури во всяком случае и быть не могло; что она давно уже изменила отчасти свой взгляд на вещи, и что хотя и не изменилась в сердце, но все-таки принуждена была очень многое допустить в виде совершившихся фактов; что сделано, то сделано, что прошло, то прошло, так что ей даже странно, что Афанасий Иванович все еще продолжает быть так напуганным. Тут она обратилась к Ивану Федоровичу и с видом глубочайшего уважения объявила, что она давно уже слышала очень многое об его дочерях и давно уже привыкла глубоко и искренно уважать их. Одна мысль о том, что она могла бы быть для них хоть чем-нибудь полезною, была бы, кажется, для нее счастьем и гордостью. Это правда, что ей теперь тяжело и скучно, очень скучно; Афанасий Иванович угадал мечты ее; она желала бы воскреснуть, хоть не в любви, так в семействе, сознав новую цель; но что о Гавриле Ардалио-

новиче она почти ничего не может сказать. Кажется, правда, что он ее любит; она чувствует, что могла бы и сама его полюбить, если бы могла поверить в твердость его привязанности; но он очень молод, если даже и искренен; тут решение трудно. Ей, впрочем, нравится больше всего то, что он работает, трудится и один поддерживает все семейство. Она слышала, что он человек с энергией, с гордостью, хочет карьеры, хочет пробиться. Слышала тоже, что Нина Александровна Иволгина, мать Гаврилы Ардалионовича, превосходная и в высшей степени уважаемая женщина; что сестра его, Варвара Ардалионовна, очень замечательная и энергичная девушка; она много слышала о ней от Птицына. Она слышала, что они бодро переносят свои несчастья; она очень бы желала с ними познакомиться, но еще вопрос, радушно ли они примут ее в их семью? Вообще она ничего не говорит против возможности этого брака, но об этом еще слишком надо подумать; она желала бы, чтоб ее не торопили. Насчет же семидесяти пяти тысяч – напрасно Афанасий Иванович так затруднялся говорить о них. Она понимает сама цену деньгам и, конечно, их возьмет. Она благодарит Афанасия Ивановича за его деликатность, за то, что он даже и генералу об этом не говорил, не только Гавриле Ардалионовичу, но, однако ж, почему же и ему не знать об этом заранее? Ей нечего стыдиться за эти деньги, входя в их семью. Во всяком случае, она ни у кого не намерена просить прощения ни в чем и желает, чтоб это знали. Она не выйдет за Гаврилу Ардалионовича, пока не убедится, что ни в нем, ни в семействе его нет какой-нибудь затаенной мысли на ее счет. Во всяком случае, она ни в чем не считает себя виновною, и пусть бы лучше Гаврила Ардалионович узнал, на каких основаниях она прожила все эти пять лет в Петербурге, в каких отношениях к Афанасию Ивановичу и много ли скопила состояния. Наконец, если она и принимает теперь капитал, то вовсе не как плату за свой девичий позор, в котором она не виновата, а просто как вознаграждение за исковерканную судьбу.

Под конец она даже так разгорячилась и раздражилась, излагая все это (что, впрочем, было так естественно), что генерал Епанчин был очень доволен и считал дело оконченным; но раз напуганный Тоцкий и теперь не совсем поверил, и долго боялся, нет ли и тут змеи под цветами. Переговоры, однако, начались; пункт, на котором был основан весь маневр обоих друзей, а именно возможность увлечения Настасьи Филипповны к Гане, начал мало-помалу выясняться и оправдываться, так что даже Тоцкий начинал иногда верить в возможность успеха. Тем временем Настасья Филипповна объяснилась с Ганей: слов было сказано очень мало, точно ее целомудрие страдало при этом. Она допускала, однако ж, и позволяла ему любовь его, но настойчиво объявила, что ничем не хочет стеснять себя; что она до самой свадьбы (если свадьба состоится) оставляет за собой право сказать «нет», хотя бы в самый последний час; совершенно такое же право предоставляет и Гане. Вскоре Ганя узнал положительно, чрез услужливый случай, что недоброжелательство всей его семьи к этому браку и к Настасье Филипповне лично, обнаруживавшееся домашними сценами, уже известно Настасье Филипповне в большой подробности; сама она с ним об этом не заговаривала, хотя он и ждал ежедневно. Впрочем, можно было бы и еще много рассказать из всех историй и обстоятельств, обнаружившихся по поводу этого сватовства и переговоров; но мы и так забежали вперед, тем более что иные из обстоятельств являлись еще в виде слишком неопределенных слухов. Например, будто бы Тоцкий откуда-то узнал, что Настасья Филипповна вошла в какие-то неопределенные и секретные от всех сношения с девицами Епанчиными, – слух совершенно невероятный. Зато другому слуху он невольно верил и боялся его до кошмара: он слышал за верное, что Настасья Филипповна будто бы в высшей степени знает, что Ганя женится только на деньгах, что у Гани душа черная, алчная, нетерпеливая, завистливая и необъятно, не пропорционально ни с чем самолюбивая; что Ганя хотя и действительно страстно добивался победы над Настасьей Филипповной прежде, но когда оба друга решились эксплуатировать эту страсть, начинавшуюся с обеих сторон, в свою пользу и купить Ганю продажей ему Настасьи Филипповны в законные жены, то он возненавидел ее как свой кошмар. В его душе будто бы странно

сошлись страсть и ненависть, и он хотя и дал, наконец, после мучительных колебаний, согласие жениться на «скверной женщине», но сам поклялся в душе горько отомстить ей за это и «доехать» ее потом, как он будто бы сам выразился. Все это Настасья Филипповна будто бы знала и что-то втайне готовила. Тоцкий до того было уже струсил, что даже и Епанчину перестал сообщать о своих беспокойствах; но бывали мгновения, что он, как слабый человек, решительно вновь ободрялся и быстро воскресал духом: он ободрился, например, чрезвычайно, когда Настасья Филипповна дала, наконец, слово обоим друзьям, что вечером, в день своего рождения, скажет последнее слово. Зато самый странный и самый невероятный слух, касавшийся самого уважаемого Ивана Федоровича, увы! все более и более оказывался верным.

Тут с первого взгляда все казалось чистейшею дичью. Трудно было поверить, что будто бы Иван Федорович, на старости своих почтенных лет, при своем превосходном уме и положительном знании жизни и пр., и пр., соблазнился сам Настасьей Филипповной, – но так будто бы, до такой будто бы степени, что этот каприз почти походил на страсть. На что он надеялся в этом случае – трудно себе и представить; может быть, даже на содействие самого Гани. Тоцкому подозревалось по крайней мере что-то в этом роде, подозревалось существование какого-то почти безмолвного договора, основанного на взаимном проникновении, между генералом и Ганей. Впрочем, известно, что человек, слишком увлекшийся страстью, особенно если он в годах, совершенно слепнет и готов подозревать надежду там, где вовсе ее и нет; мало того, теряет рассудок и действует как глупый ребенок, хотя бы и был семи пядей во лбу. Известно было, что генерал приготовил ко дню рождения Настасьи Филипповны от себя в подарок удивительный жемчуг, стоивший огромной суммы, и подарком этим очень интересовался, хотя и знал, что Настасья Филипповна – женщина бескорыстная. Накануне дня рождения Настасьи Филипповны он был как в лихорадке, хотя и ловко скрывал себя. Об этом-то именно жемчуге и прослышала генеральша Епанчина. Правда, Лизавета Прокофьевна уже с давних пор начала испытывать ветреность своего супруга, даже отчасти привыкла к ней; но ведь невозможно же было пропустить такой случай: слух о жемчуге чрезвычайно интересовал ее. Генерал выследил это заблаговременно; еще накануне были сказаны иные словечки; он предчувствовал объяснение капитальное и боялся его. Вот почему ему ужасно не хотелось в то утро, с которого мы начали рассказ, идти завтракать в недра семейства. Еще до князя он положил отговориться делами и избежать. Избежать у генерала иногда значило просто-запросто убежать. Ему хоть один этот день и, главное, сегодняшний вечер хотелось выиграть без неприятностей. И вдруг так кстати пришелся князь. «Точно Бог послал!» – подумал генерал про себя, входя к своей супруге.

V

Генеральша была ревнива к своему происхождению. Каково же ей было, прямо и без приготовления, услышать, что этот последний в роде князь Мышкин, о котором она уже что-то слышала, не больше как жалкий идиот и почти что нищий и принимает подаяние на бедность. Генерал именно бил на эффект, чтобы разом заинтересовать, отвлечь все как-нибудь в другую сторону.

В крайних случаях генеральша обыкновенно чрезвычайно выкатывала глаза и, несколько откинувшись назад корпусом, неопределенно смотрела перед собой, не говоря ни слова. Это была рослая женщина, одних лет с своим мужем, с темными, с большою проседью, но еще густыми волосами, с несколько горбатым носом, сухощавая, с желтыми, ввалившимися щеками и тонкими, впалыми губами. Лоб ее был высок, но узок; серые, довольно большие глаза имели самое неожиданное иногда выражение. Когда-то у ней была слабость поверить, что взгляд ее необыкновенно эффектен; это убеждение осталось в ней неизгладимо.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.

Достоевская А. Г. Воспоминания. – М.: Худ. лит., 1971.

2.

Из письма Аполлону Майкову 21 июля 1868 года.

3.

Из письма Николаю Страхову 26 февраля 1869 года.

4.

Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин М. М. Собр. соч.: В 7 т. Т. 6. – М.: Русские словари: Языки славянской культуры, 2002.

5.

Гроссман Л. П. Поэтика Достоевского. – М.: ГАХН, 1925.

6.

Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского. – СПб.: Академический проект, 1993.

7.

Бахтин М. М. Указ. соч.

8.

Гроссман Л. П. Достоевский. – М.: Молодая гвардия, 1963.

9.

Бахтин М. М. Указ. соч.

10.

Набоков В. В. Лекции по русской литературе. – М.: Независимая газета, 1999.

11.

Гроссман Л. П. Достоевский. – М.: Астрель, 2012.